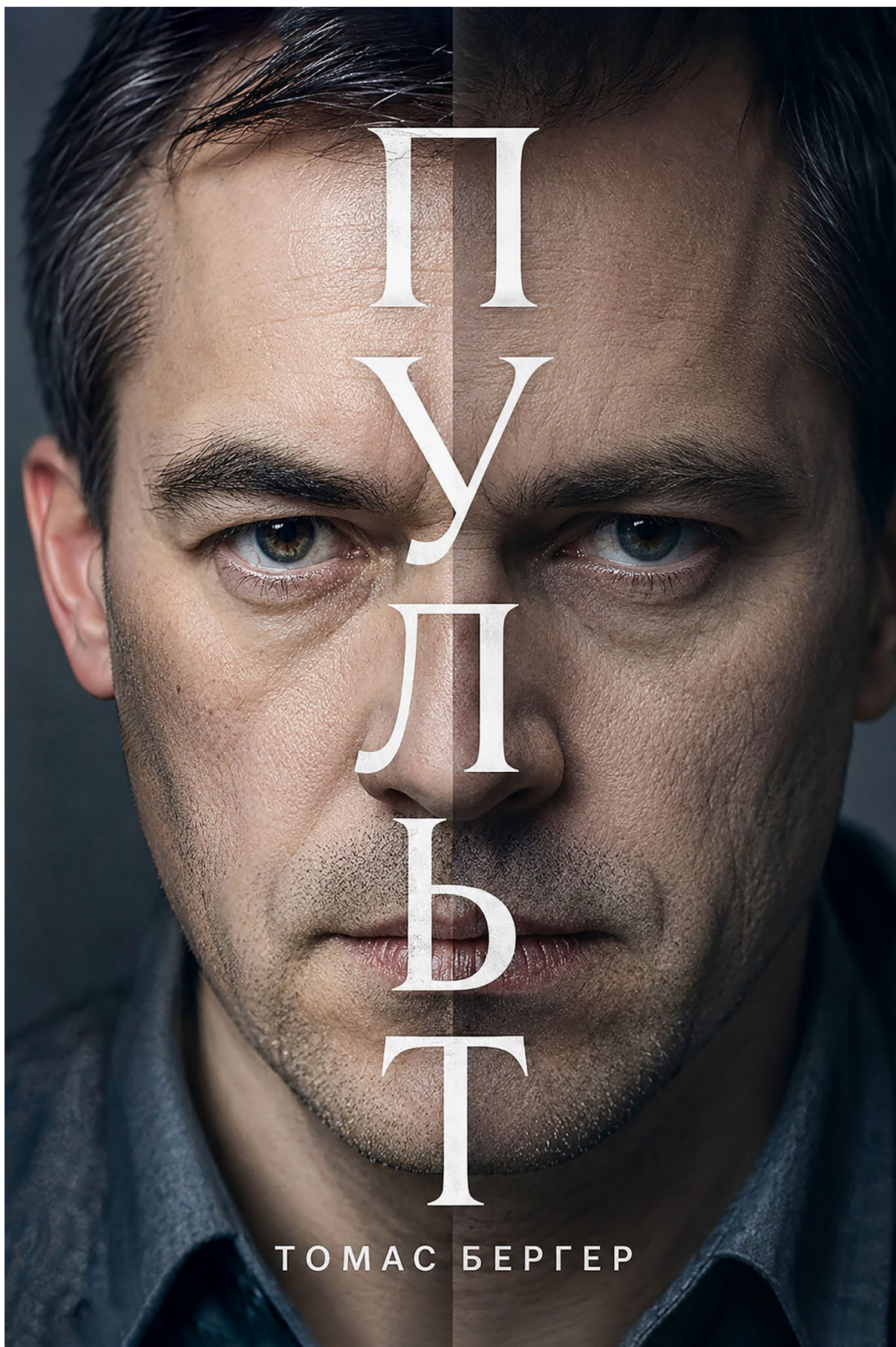




ПУЛЬТ

ТОМАС БЕРГЕР

Пульт

Томас Бергер

Настоящее издание является художественным произведением. Все имена, персонажи, события, организации, компании и иные элементы повествования являются результатом художественного вымысла. Любое сходство с реальными лицами, действующими или прекратившими деятельность организациями, компаниями, а также с реальными событиями и обстоятельствами носит исключительно случайный и непреднамеренный характер.

Оглавление

Пролог

Глава 1. Механика экранного стресса

Глава 2. Язык вражды и юридическая пустота

Глава 3. Французский прецедент и эхо Муссолини

Глава 4. Немецкие фильтры и тени тридцатых

Глава 5. Идеологи нетерпимости

Глава 6. Сценарии уничтожения: от Уэйко до Пензы

Глава 7. Программирование насилия и пазловое кодирование

Глава 8. Владельцы пульта

Пролог

Свет от экрана мобильного телефона в темноте спальни кажется неестественно синим. Было ровно 6:47 утра. За окном еще тянулась серая, нерешительная московская осень. Моя жена Лена тихо дышала рядом, уткнувшись носом в подушку. На краю подоконника, свернувшись серым клубком, дремал наш кот Федот. Все было мирно, привычно, безопасно. Но внутри меня уже запускался привычный, хорошо отлаженный механизм.

Я еще не успел опустить ноги на холодный ламинат, не успел сделать глоток воды, но моя правая рука привычным, автоматическим движением уже нащупала смартфон. Большой палец скользнул по стеклу. Разблокировка.

Первая вкладка — новостной агрегатор. Заголовок: «Крупная авария на химическом заводе, угроза выброса». Вторая вкладка — Telegram-канал с быстрыми новостями. Видео: пылающий пригород где-то на другом конце света, крики людей, сирены. Третья вкладка — комментарии под постом о возможном росте цен и дефиците лекарств. Люди спорили, проклинали друг друга, предрекали скорый крах всего.

К моменту, когда на кухне закипел чайник, я уже переварил три катастрофы, два политических скандала и один прогноз о неизбежном экономическом кризисе. Мой пульс составлял 94 удара в минуту. Я стоял у окна, смотрел на просыпающийся город и чувствовал, как в груди разрастается тяжелый, липкий ком. Я называл это «быть в курсе событий». Я считал себя ответственным гражданином, который должен знать правду, чтобы защитить свою семью.

В тот день моя четырнадцатилетняя дочь Даша собиралась в кино с одноклассниками. Обычный субботний сеанс в торговом центре в трех остановках от нашего дома. Она стояла в прихожей, застегивая куртку, веселая, что-то напевая под нос.

— Даш, — позвал я, и мой собственный голос показался мне чужим, каким-то надтреснутым. — Может, ты сегодня дома побудешь? Или давай я с тобой поеду?

Она удивленно повернулась. В ее глазах отразилось искреннее непонимание.

— Пап, зачем? Мы же договорились. Там все наши будут.

— Время сейчас беспокойное, — пробормотал я, чувствуя, как к горлу подступает необъяснимая паника. Перед глазами вспыхнули кадры из утренней ленты новостей: взрывы, испуганные лица, полицейские кордоны. В моем сознании эти далекие, не связанные с нами события мгновенно выстроились в прямую угрозу для моей дочери здесь и сейчас. — Мало ли что. Давай лучше в следующий раз.

Даша посмотрела на меня долгим, оценивающим взглядом. В этом взгляде не было обиды — скорее жалость и легкая тревога за меня.

— Пап, ты с ума сошел, — тихо сказала она. — Ты в последнее время сам не свой.

Она ушла, аккуратно прикрыв за собой дверь. А я остался стоять в прихожей. Ее слова ударили меня сильнее, чем любой заголовок в сети. Я подошел к зеркалу. На меня смотрел сорокадвухлетний мужчина, обычный бухгалтер с ипотекой, уставшими глазами и легкой сединой на висках. Человек, который всегда гордился своим рациональным мышлением, умением работать с цифрами и хладнокровием. И этот человек сейчас едва не запер свою дочь дома просто потому, что начитался новостей в интернете.

Я действительно сходил с ума. Но самое страшное было в том, что я был не один такой.

Я вернулся за рабочий стол, открыл ноутбук и вместо привычных бухгалтерских таблиц начал искать ответы. Мне нужно было понять, что происходит с моим разумом. Как профессиональный аудитор, я привык верить не эмоциям, а цифрам, первоисточникам и проверяемым фактам.

Первое, на что я наткнулся, было исследование ученых из Калифорнийского университета в Ирвайне под руководством Эрин Холман. Это была чистая математика человеческого страха. После теракта на Бостонском марафоне исследователи опросили 4 675 взрослых жителей США; часть данных о психическом состоянии участников была собрана еще до трагедии в рамках

более ранних обследований. Через две-четыре недели после взрывов они сопоставили эти сведения с уровнем медиавоздействия и острого стресса. Результаты оказались шокирующими.

Люди, которые не были в Бостоне, не теряли близких и не находились рядом с местом взрыва, но смотрели новости о теракте более шести часов в день, демонстрировали более высокий уровень острого стресса и симптомов ПТСР, чем те, кто находился непосредственно на месте событий. Экран телевизора и смартфона калечил психику сильнее, чем реальная близость к физической опасности.

Я перечитал это исследование трижды. Мой мозг отказывался принимать эту информацию. Мы привыкли думать, что медиа — это просто зеркало реальности. Но цифры говорили о другом: медиа создают собственную, гораздо более агрессивную реальность, которая атакует нас прямо в наших домах.

Дальше — больше. Я начал поднимать медицинские архивы. Национальное исследование, проведенное в США через три года после трагедии 11 сентября, зафиксировало: регулярное потребление новостей об одном крупном теракте увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний на 53% в течении последующих трех лет. Просто за просмотр сюжетов на экране. Хронический стресс, вызванный медиа потреблением, в четыре раза увеличивает риск инсульта, провоцирует диабет и напрямую связан с онкологическими процессами из-за постоянного выброса кортизола и адреналина.

Я посмотрел на глобальную статистику Всемирной организации здравоохранения. Число людей с гипертонией в мире удвоилось за последние тридцать лет — с 650 миллионов до 1,3 миллиарда человек. С 1990 по 2019 год количество инсультов на планете выросло на 70%.

Вдумайтесь в эти цифры. За эти же тридцать лет медицина совершила невероятный рывок. Появились новые методы диагностики, высокотехнологичные операции, таргетная терапия. Но болезни не отступают. Они наступают с бешеной скоростью. Почему?

Ответ лежал на поверхности, но мы упорно отказываемся его замечать. Мы изменили свою информационную диету. Мы добровольно впустили в свои

спальни и кухни источник постоянного, непрекращающегося ни на минуту страха.

Французский профессор психиатрии Луи Крок, изучавший психологию экстремальных ситуаций, писал, что использование постоянной угрозы — будь то война, эпидемия или невидимый внутренний враг — это самый эффективный способ подчинить поведение людей. Запуганный человек теряет способность к критическому анализу. Он становится более управляемым. Он готов отказаться от своих прав, от свободы слова, от личных границ ради иллюзии безопасности. Он требует «сильной руки». Он перестает задавать вопросы. Он пытается не пустить дочь в кино.

Я сидел в тишине своей квартиры. Кот Федот перебрался ко мне на колени, тихо мурлыча. За стеной Даша, вернувшаяся из кино целой и невредимой, смеялась, разговаривая с кем-то по телефону. Мир не рухнул. Но я понял, что нахожусь внутри огромной, хорошо спроектированной системы, которая ежедневно нажимает на кнопки в моем мозгу.

Кто держит этот пульт? Кто и зачем профессионально продает нам тревогу?

Мое расследование началось с этих вопросов. Я еще не знал, куда приведет меня этот след. Я не предполагал, что обычный поиск причин моей собственной тревожности выведет меня на международные организации, сомнительные законы, принимаемые в европейских столицах, и скрытые механизмы влияния, которые уходят корнями в самые темные страницы истории двадцатого века.

Я просто открыл чистый файл на компьютере и написал первое слово: «Пульт».

Глава 1. Механика экранного стресса

Цифры не умеют лгать. В моей профессии это аксиома, закон, на котором держится все. Если дебет не сходится с кредитом хотя бы на одну копейку, значит, где-то допущена ошибка. Ошибка может быть случайной, а может быть намеренной, скрывающей системный сбой или воровство. Когда я решил провести аудит собственного информационного поведения, я подошел к этому процессу так же, как к проверке годового баланса крупного предприятия. Без эмоций. Только сухие данные.

Я установил на свой смартфон программу контроля экранного времени. Мне казалось, что я пользуюсь телефоном умеренно — ну, час, максимум полтора в день, в основном по работе. Когда через неделю приложение выдало мне первый отчет, я долго смотрел на экран, отказываясь верить своим глазам.

Среднее время активности составляло четыре часа сорок восемь минут в день. Почти пять часов.

Я взял калькулятор и быстро перевел эти цифры в годовой масштаб. Получилось около семидесяти полноценных суток в год. Семьдесят дней, которые я провел, уставившись в светящийся прямоугольник, листая бесконечные ленты новостей, просматривая короткие видеоролики и читая комментарии совершенно незнакомых мне людей. Это было не просто потерянное время. Это был ресурс, который я добровольно изымал из своей жизни, из общения с дочерью, из сна и работы.

Но самым тревожным было не потерянное время. Я начал вести дневник своего физического состояния. Каждый раз, когда я открывал новостное приложение, я фиксировал свои ощущения. Сначала это казалось глупостью, но уже на третий день начала вырисовываться закономерность.

Стоило мне прочитать заголовок очередной катастрофы или политического кризиса, как в теле происходили мгновенные изменения. Пальцы рук становились холодными. Дыхание делалось поверхностным, словно

мне не хватало воздуха. В затылке появлялась тяжелая, тупая боль, а плечи непроизвольно поднимались, словно тело пыталось защитить шею от удара. Я ловил себя на том, что сжимаю челюсти так сильно, что начинают ныть зубы.

Это не были ментальные переживания. Мое тело реагировало на буквы на экране так, словно на меня из темноты прыгал дикий зверь.

Чтобы понять, как этот процесс устроен изнутри, я решил выйти из-за компьютера. Мне нужен был профессиональный взгляд человека, который каждый день видит последствия этого невидимого воздействия. Я записался на прием к Дмитрию Андреевичу Резнику, кардиологу с двадцатипятилетним стажем, доктору медицинских наук, работающему в одной из крупных клиник на Пироговской улице.

Кабинет Дмитрия Андреевича встретил меня тихим гулом медицинских приборов и успокаивающим запахом чистоты. Сам доктор — плотный мужчина с аккуратной седой бородой и внимательными, слегка усталыми глазами — выслушал мою историю без тени иронии. Я выложил перед ним распечатки своего экранного времени и графики колебаний пульса, которые фиксировал мой фитнес-браслет.

— Вы очень вовремя решили заняться этим, Сергей, — произнес Дмитрий Андреевич, рассматривая мои бумаги. — Большинство моих пациентов приходят сюда уже после того, как их увозит скорая с инфарктом или инсультом. И когда мы начинаем разбирать анамнез, выясняется, что физиологическим триггером катастрофы почти всегда становится стресс. А откуда они его берут в мирное время? Из телевизора и смартфонов.

Он поднялся, подошел к пластиковой модели человеческого сердца, стоявшей на полке, и повернул ее к себе.

— Давайте разберем физиологию процесса. Наш организм — это очень консервативная система. С точки зрения эволюции мы мало чем отличаемся от наших предков, живших в пещерах десятки тысяч лет назад. У нашего мозга есть древняя, как сам мир, система выживания. Когда вы видите на экране новость о взрыве, эпидемии или экономическом крахе, ваш мозг не понимает, что это происходит за тысячи километров от вас или вообще является преувеличением.

Для него любая пугающая информация — это сигнал непосредственной физической угрозы. Здесь и сейчас.

Дмитрий Андреевич постучал пальцем по столу.

— В этот момент гипоталамус мгновенно отправляет сигнал надпочечникам. Происходит мощный выброс гормонов стресса — адреналина и кортизола. Адреналин заставляет сердце биться чаще, чтобы перекачивать больше крови к мышцам. Он сужает кровеносные сосуды — это называется вазоконстрикцией. Зачем? Чтобы в случае ранения уменьшить кровопотерю. Кортизол, в свою очередь, резко повышает уровень глюкозы в крови, мобилизуя все энергетические ресурсы организма для одного действия: бежать или сражаться.

— Но я никуда не бегу, — заметил я. — Я лежу в кровати или сижу в офисном кресле с чашкой чая.

— Вот именно! — доктор поднял указательный палец. — В этом и заключается трагедия современного человека. Древний механизм рассчитан на мгновенное физическое действие. Пещерный человек либо убегал от саблезубого тигра, либо убивал его. В обоих случаях гормоны стресса расходовались в процессе физической активности, сосуды расширялись, давление приходило в норму. Вы же остаетесь неподвижным. Адреналин и кортизол продолжают циркулировать в вашей крови. Ваши сосуды остаются сжатыми, как спазмированные шланги. Сердце вынуждено работать с колоссальной перегрузкой, проталкивая кровь через эти суженные каналы.

Дмитрий Андреевич открыл ящик стола и достал медицинскую карту.

— У меня есть показательный случай. Пациент, назовем его Павел Петрович. Сорок пять лет, ведущий IT-специалист, физически крепкий мужчина, не курит, регулярно ходит в бассейн. Поступил к нам полгода назад с тяжелейшим гипертоническим кризом. Давление было сто девяносто на сто десять. Мы еле купировали состояние. Когда начали выяснять причины, оказалось, что накануне он все выходные провел в постели, читая текстовую трансляцию о затяжном геополитическом конфликте. Он не спал, почти не ел, только листал ленту. Его организм двое суток находился в состоянии химической атаки собственными гормонами. Его сосуды просто не выдержали.

Мы диагностировали у него выраженную эндотелиальную дисфункцию — повреждение внутреннего слоя сосудов из-за постоянного спазма. Это прямой путь к атеросклерозу и инфаркту.

Я слушал доктора, и в моей голове складывался пазл. Я вспомнил статистику Всемирной организации здравоохранения, которую изучал накануне встречи.

Согласно официальным докладом ВОЗ, за период с 1990 по 2019 год количество людей, страдающих гипертонией, увеличилось ровно вдвое — с 650 миллионов до 1,3 миллиарда человек. Это колоссальный, необъяснимый с точки зрения чистой биологии рост. За эти же тридцать лет человечество стало лучше питаться, качество питьевой воды во многих регионах улучшилось, появились новые классы высокоэффективных гипотензивных препаратов. Но болезнь не просто не отступила — она захватила планету.

— Дмитрий Андреевич, — спросил я, — может ли этот взрывной рост гипертонии быть связан именно с изменением нашей информационной среды? Ведь именно на эти тридцать лет приходится появление интернета, мобильной связи и круглосуточных новостных каналов.

Доктор тяжело вздохнул и откинулся на спинку кресла.

— Я абсолютно в этом убежден. И не только я. Кардиологи по всему миру бьют тревогу. Понимаете, гипертонию не зря называют «тихим убийцей». Человек может годами не чувствовать повышенного давления. Но постоянный избыток кортизола разрушает сосудистую стенку. Она теряет эластичность, становится жесткой. На поврежденных участках начинают откладываться холестериновые бляшки. С 1990 по 2019 год количество инсультов в мире выросло на 70%. Это официальные данные систематического анализа Глобального бремени болезней, опубликованные в журнале *The Lancet Neurology*. Мы научились делать сложнейшие операции на открытом сердце, но мы бессильны перед ежедневным, ежечасным добровольным отравлением нервной системы, которое устраивают себе люди.

Я поблагодарил доктора Резника и вышел из клиники. На улице моросил мелкий дождь. Люди вокруг меня спешили к метро, и почти каждый второй на ходу смотрел в экран своего телефона. Они шли, спотыкаясь, не замечая ничего

вокруг, полностью погруженные в свои персональные источники тревоги. Я ехал в метро и думал о том, что мы стали участниками гигантского, несанкционированного эксперимента над человеческой психикой и физиологией.

Вернувшись домой, я заперся в кабинете и решил детально изучить научную базу этого явления. Мне нужно было найти первоисточники исследований, которые бы подтверждали или опровергали мои догадки.

Первым документом, который я детально проанализировал, стало то самое исследование Эрин Холман и ее коллег из Калифорнийского университета в Ирвайне, посвященное психологическим последствиям теракта на Бостонском марафоне в 2013 году. Я нашел оригинальную публикацию в журнале *Proceedings of the National Academy of Sciences*.

Методология исследования была безупречной. Ученым невероятно повезло: они собирали данные о репрезентативной выборке из 4 675 взрослых американцев незадолго до трагедии. Это позволило им иметь точную картину психического здоровья участников «до» события. Через две-четыре недели после взрывов исследователи провели повторный опрос тех же людей.

Они оценивали уровень острого стресса по стандартным клиническим шкалам, а также фиксировали количество времени, которое участники тратили на потребление информации о теракте через телевидение, радио, печатные СМИ, интернет и социальные сети.

Результаты, которые получили Холман и ее соавторы, заставляют содрогнуться любого рационально мыслящего человека.

Люди, которые подвергались прямому воздействию теракта — то есть находились непосредственно на месте взрыва в Бостоне или имели близких родственников среди пострадавших, — безусловно, испытывали тяжелейший стресс. Но уровень острого стресса у тех, кто не имел никакого отношения к Бостону, не знал никого из пострадавших, но смотрел или читал новости о трагедии более шести часов в день в течение недели после события, оказался значительно выше.

Экран калечил сильнее, чем реальная близость к взрыву.

Я начал разбираться, почему так происходит. В исследовании Холман подробно описывается этот феномен. Когда человек находится в эпицентре реального трагического события, его стресс имеет четкие временные и пространственные границы. Взрыв произошел, пыль улеглась, раненым оказали помощь, полиция оцепила район. Острая фаза завершилась. Начинается процесс адаптации и преодоления травмы.

Но когда человек включает телевизор или открывает новостную ленту, для его мозга событие не заканчивается никогда. СМИ запускают процесс, который психологи называют руминацией — непрерывным, навязчивым прокручиванием в голове одних и тех же тревожных мыслей и образов.

Телеканалы показывают кадры взрыва снова и снова. С разных ракурсов. В замедленной съемке. Снабжая их тревожной музыкой и кричащими заголовками. В социальных сетях появляются новые подробности, фотографии разорванной одежды, залитого кровью асфальта. Человек застревает в этой петле. Каждый новый просмотр видеоролика или чтение статьи активирует схему страха в головном мозге заново. Мозг не понимает, что это один и тот же взрыв, показанный в сотый раз. Для него это сто новых взрывов.

Постоянная когнитивная обработка страха удерживает симпатическую нервную систему в состоянии непрерывного возбуждения. Организм не получает передышки. Острый стресс, который должен был угаснуть через несколько дней, превращается в хронический. А хронический стресс, как доказано сотнями клинических исследований, разрушает иммунную систему, нарушает работу эндокринных желез и приводит к необратимым изменениям в сосудах.

Но почему мы не можем остановиться? Почему, испытывая дискомфорт, тревогу и физическую боль, мы продолжаем тянуться к телефону и открывать новостные сайты?

Ответ на этот вопрос лежал в области нейробиологии. Я углубился в изучение феномена, который в научной литературе получил название «синдром информационной перегрузки» (Information Overload Syndrome).

Наш мозг — это великолепный инструмент, но он формировался в условиях жесткого дефицита информации. В первобытные времена получение новых

сведений (где найти еду, откуда грозит опасность, как изменилась погода) было ключевым фактором выживания. Поэтому эволюция закрепила простой механизм: за получение новой информации мозг награждает нас крошечной дозой дофамина — гормона удовольствия и предвкушения.

Современные медиаплатформы и социальные сети построены на эксплуатации этого древнего механизма. Каждый раз, когда мы обновляем ленту новостей, мы совершаем действие, аналогичное нажатию на рычаг игрового автомата. Мы не знаем, что там появится. Возможно, там будет скучная статья, а возможно — сенсация, шокирующее видео или пугающий заголовок. Этот элемент непредсказуемости вызывает мощный дофаминовый отклик. Мы подсаживаемся на информационную иглу, сами того не замечая.

Но за этот дешевый дофамин мы платим страшную цену.

Главной жертвой информационной перегрузки становится префронтальная кора головного мозга. Это самый молодой и самый сложный отдел нашей нервной системы. Именно префронтальная кора отвечает за высшие когнитивные функции: критическое мышление, планирование, принятие решений, самоконтроль и фильтрацию ненужной информации. Она работает как строгий и умный менеджер, который решает, какие задачи сейчас приоритетны, а какие сигналы можно проигнорировать.

Однако ресурс префронтальной коры крайне ограничен. Она потребляет колоссальное количество энергии. Когда на человека обрушивается непрерывный, неконтролируемый поток эмоционально заряженной, противоречивой и пугающей информации, этот «менеджер» просто не справляется с нагрузкой.

Происходит то, что нейробиологи называют когнитивным истощением. Префронтальная кора теряет способность эффективно фильтровать сигналы. Она больше не может отличать важную информацию от второстепенной, правду от откровенной лжи, реальную угрозу от виртуального шума.

Когда префронтальная кора истощена и фактически отключается, контроль над поведением человека переходит к более древней, подкорковой структуре — миндалевидному телу (амигдале). Амигдала — это центр наших эмоций, в первую очередь страха и агрессии. Она не умеет анализировать, она

умеет только реагировать. Ее реакция быстра, примитивна и направлена на выживание любой ценой.

Человек, находящийся под управлением амигдалы, теряет способность к критическому мышлению. Он становится чрезвычайно внушаемым. Его легко напугать, им легко манипулировать. Он начинает видеть врагов повсюду, его охватывает фоновая, липкая тревога, которую невозможно снять логическими доводами. Он перестает доверять фактам и начинает верить только своим эмоциям. А его эмоции в этот момент — это страх и паника.

Я сидел за столом, глядя на экран ноутбука, где были открыты схемы нейронных связей головного мозга. За окном совсем стемнело. В тишине квартиры было слышно, как на кухне мерно тикают часы.

Я понял, что нашел ответ на свой первый вопрос. Моя паника, мой иррациональный страх за дочь, мое нежелание отпускать ее в кино — все это не было проявлением отцовской заботы. Это был физиологический сбой. Моя префронтальная кора, истощенная годами непрерывного потребления негативных новостей, просто сдалась. Контроль захватила амигдала, которая нарисовала в моем воображении смертельную опасность там, где ее не было.

Я посмотрел на свой телефон, лежащий на краю стола. На его экране загорелось синее уведомление. Очередной Telegram-канал сообщал о «срочных и шокирующих подробностях» какого-то происшествия.

Моя рука непроизвольно дернулась к смартфону. Палец завис над экраном. Я почувствовал, как внутри меня снова запускается этот привычный круг: легкий укол тревоги, предвкушение новой информации, готовность нажать на ссылку.

Глубокий вдох, медленный выдох — всё по инструкции доктора Резника. Пальцы рук были холодными. Тело уже приготовилось к бою, хотя я просто сидел в тёплой комнате.

Я перевернул телефон экраном вниз.

Это был мой первый, крошечный шаг к возвращению контроля над собственной жизнью. Но я понимал, что это только самое начало пути. Я разобрался с тем, как медиапотребление разрушает мое тело и мой разум на

физическом уровне. Но оставался главный, гораздо более сложный и опасный вопрос.

Если этот механизм воздействия на человеческую психику настолько эффективен, если он гарантированно лишает людей критического мышления и делает их управляемыми, то неужели никто не использует его сознательно?

Кто создает эти информационные потоки? Кто конструирует эти триггеры страха, которые заставляют миллионы людей по всему миру добровольно разрушать свое здоровье и подчинять свое поведение чужой воле?

Я открыл новый текстовый файл на компьютере. Мое расследование выходило на следующий уровень. Мне нужно было понять, как именно этот страх упаковывается в слова и юридические формулировки, которые затем транслируются на весь мир.

Глава 2. Язык вражды и юридическая пустота

В моей профессии нет места двусмысленности. Если в аудиторском отчете или бухгалтерском балансе появляется строка «Прочие расходы», за которой скрываются миллионы рублей без расшифровки и первичных документов, любой профессионал понимает: здесь что-то не так. Либо это халатность, либо намеренная попытка скрыть нецелевое использование средств. В финансах каждое слово, каждая цифра должны иметь четкое, законодательно закреплённое определение. Если вы назовете актив пассивом, вас просто лишат лицензии.

Когда я, обычный бухгалтер с ипотекой, решил разобраться в причинах своего собственного фонового страха, я применил тот же самый профессиональный подход. Я решил проверить термины, которыми нас ежедневно бомбардируют с экранов телевизоров и смартфонов.

«Тоталитарная секта». «Деструктивный культ».

Эти словосочетания звучат настолько привычно, что мы давно перестали задумываться об их значении. Они выносятся в заголовки криминальной хроники, звучат из уст политиков, экспертов и ведущих ток-шоу. Они вызывают мгновенную, автоматическую реакцию: страх, отвращение, желание отгородиться, защитить близких. Но что стоит за этими словами с точки зрения закона?

Я открыл профессиональную правовую базу данных, которой пользуюсь для работы с налоговым законодательством. Я ввел в строку поиска словосочетание «тоталитарная секта». Система выдала нулевой результат. Я попробовал «деструктивный культ». Снова пустота.

В действующем законодательстве, регулирующем деятельность некоммерческих и религиозных организаций, таких понятий просто не существовало. Закон знает «религиозные группы» и «религиозные организации». Он знает «некоммерческие объединения». Но он ничего не знает о «тоталитарных сектах».

Как аудитор, я почувствовал, что наткнулся на гигантскую финансовую дыру в балансе общественного сознания. Термины, которые определяют судьбы людей, ломают карьеры и оправдывают закрытие организаций, оказались юридической пустышкой. Внеправовыми ярлыками, которые кто-то сознательно ввел в оборот.

Чтобы понять, откуда взялись эти слова и почему они работают вопреки закону, мне пришлось выйти из своего привычного цифрового пространства. Я понял, что интернет-поисковики выдают лишь верхний, самый агрессивный слой информации — бесконечные статьи-страшилки и эмоциональные ток-шоу. Мне нужны были первоисточники, серьезный научный анализ.

В один из холодных октябрьских дней, когда серая изморось превращала московские улицы в сплошное зеркало, я отправился в Российскую государственную библиотеку. Огромное здание на Воздвиженке встретило меня привычной тишиной, запахом старой бумаги, мастики для паркета и легким гулом вентиляции. Получив временный читательский билет, я поднялся в читальный зал гуманитарных наук. Под зелеными лампами за длинными

дубовыми столами сидели люди, погруженные в чтение. Здесь время словно замедляло свой ход, контрастируя с безумным ритмом новостных лент в моем телефоне.

Я заказал труды Игоря Яковлевича Кантерова.

Кантеров — доктор философских наук, заслуженный профессор МГУ имени М. В. Ломоносова, один из крупнейших отечественных религиоведов, посвятивший изучению религиозных движений более тридцати лет. Его работы отличались тем самым академическим хладнокровием и точностью формулировок, которые я так ценил в своей работе.

Когда тяжелые, пахнущие архивной пылью тома легли на мой стол, я углубился в чтение. И передо мной начала открываться история масштабной лингвистической манипуляции.

В своей книге «Новые религиозные движения» профессор Кантеров подробно описывал, как происходила эволюция этих терминов. Оказалось, что слово «культ» на протяжении веков было сугубо научным термином, использовавшимся историками религии, этнографами и теологами. Оно не несло в себе никакой негативной окраски. Ситуация резко изменилась в середине 1970-х годов на Западе, когда это слово подхватили массмедиа. Издателям газет и журналов оно понравилось своей краткостью, боевитостью и эмоциональностью. Чтобы усилить эффект, к нему стали добавлять пугающие эпитеты: «самоубийственный культ», «дьявольский культ».

Но настоящий прорыв в технологии запугивания произошел в 1993 году. Именно тогда в публичный оборот на постсоветском пространстве были целенаправленно введены термины «тоталитарная секта» и «деструктивный культ». Их автором и главным лоббистом стал человек, объявивший себя главным экспертом по сектоведению, хотя его методы и выводы никогда не признавались академическим сообществом.

Я читал строки профессора Кантерова, и его выводы поражали своей точностью:

«Переноса зловещий, пугающий смысл термина “тоталитарный” на область религии, создатели конструкции “тоталитарная секта” рассчитывают таким способом существенно усилить обличительный заряд имеющихся

определений, предваряющих слова “секта” и “культ”. Именно по причине “узнаваемости” термина “тоталитарный” и закрепилось употребление этого очень “нехорошего” термина к новым религиозным образованиям».

Слово «тоталитарный» мгновенно активизирует в нашей памяти образы двадцатого века: концентрационные лагеря, колючую проволоку, принудительный труд, подавление личности. Когда это слово прикрепляют к любой, даже самой мирной религиозной группе, у обывателя отключается критическое мышление. Возникает автоматический, животный страх.

Профессор Кантеров прямо указывал на то, что применение подобных терминов к религиозным объединениям, имеющим официальный юридический статус и зарегистрированным органами юстиции, свидетельствует об отсутствии у авторов таких материалов элементарных религиоведческих знаний, а также базовых сведений о нормативных актах, регулирующих деятельность религиозных объединений. Причисление конкретного религиозного образования к категории, уже в самом наименовании содержащей негативные оттенки, в лучшем случае порождает к такой группе настороженное отношение, а чаще всего ведет к дискриминации и преследованию верующих.

Расплывчатость этих наименований позволяет причислять к ним практически любое религиозное новообразование, религиозно-философское учение, культурно-образовательное или оздоровительное учреждение. Было бы желание, а уж понятия «тоталитарная секта» и «деструктивный культ» всегда готовы принять в свои безразмерные объятия всякого, кого нужно без лишних раздумий заклеить.

Я сидел под зеленой лампой библиотеки, и у меня по спине пробежал холодок. Это была гениальная и страшная схема. Если у вас нет четкого юридического определения термина, вы можете использовать его как угодно и против кого угодно. Вы можете назвать «сектой» курсы йоги, школу изучения иностранных языков, тренинг по личностному росту или коммерческую компанию, занимающуюся сетевым маркетингом. И вам не нужно ничего доказывать в суде, потому что самого термина в законе нет. Вы просто бросаете это слово в публичное пространство, а дальше медиа и общественный страх делают всю грязную работу за вас.

Мне нужно было проверить, как это работает на практике. Как реагирует на эту ситуацию современное научное сообщество? Почему профессиональные социологи и религиоведы молчат, позволяя внеправовым ярлыкам разрушать общественные институты?

Я решил встретиться с кем-то из практикующих исследователей. Через знакомых мне удалось выйти на кафедру социологии религии одного из крупных московских университетов. Моим собеседником согласился стать Михаил Семенович Воронов (имя изменено по его настоятельной просьбе) — кандидат социологических наук, доцент, автор десятков публикаций о современных религиозных процессах.

Наша встреча была назначена в небольшом кафе на Покровке. Михаил Семенович, невысокий, худощавый мужчина средних лет в потертом пиджаке и очках в тонкой оправе, пришел вовремя. Он выглядел уставшим и каким-то излишне собранным. Когда я достал блокнот и диктофон, он мягко, но решительно накрыл мою руку ладонью.

— Сергей, давайте без записи. И без упоминания моего настоящего имени и вуза. Если вы согласны на разговор на таких условиях, мы пообщаемся. Если нет — извините, у меня много работы.

Я убрал диктофон. Напряжение, исходившее от этого человека, было почти осязаемым. Это не был страх физической расправы, это был глубокий, профессиональный дискомфорт человека, который знает, что одно неосторожное слово может разрушить его жизнь.

— Почему такая секретность, Михаил Семенович? — спросил я, разливая чай. — Мы ведь обсуждаем научные термины, методологию. Вы ученый, преподаватель.

Воронов горько усмехнулся и откинулся на спинку стула.

— Наука, Сергей, заканчивается там, где начинается государственная идеология и интересы определенных групп влияния. Вы спрашиваете, почему в законе нет терминов «тоталитарная секта» и «деструктивный культ», но их используют все кому не попадя? Да потому что это идеальное социальное оружие. И любой ученый, который осмелится публично заявить об их научной несостоятельности, мгновенно попадает под удар.

Он сделал глоток чая и продолжил, понизив голос:

— В нашей профессиональной среде сейчас сложилась удушающая атмосфера. Стоит тебе дать объективную, взвешенную экспертизу по какому-нибудь новому религиозному движению, не найдя там признаков экстремизма или «промывания мозгов», как тебя тут же объявляют «сектозащитником». Это клеймо. Вас обвинят в том, что вы получаете деньги от этих организаций, что вы продались. Начнется травля в прессе, на кафедру придут запросы из определенных ведомств, руководство вуза вежливо попросит вас уйти по собственному желанию, чтобы не портить репутацию заведения. Кому нужны эти проблемы? Проще молчать или писать обтекаемые отчеты.

— Но ведь это же прямое нарушение академической свободы, — возразил я.

— Академическая свобода? — Воронов посмотрел на меня как на ребенка. — Забудьте. Сегодня главным инструментом стигматизации стал метод, который в социологии называется «виной по ассоциации». Это ключевой инструмент, с помощью которого антикультовые активисты уничтожают любого оппонента.

Он пододвинул к себе салфетку и быстро набросал на ней простую схему.

— Смотрите, как это работает. Есть группа А, которую антикультисты объявили «тоталитарной сектой». Не важно, на каком основании — просто объявили через СМИ. Есть ученый или правозащитник Б, который говорит: «Подождите, давайте изучим факты, у нас нет юридических оснований для преследования группы А». В этот момент антикультисты запускают механизм «вины по ассоциации». Они заявляют: «Раз Б защищает группу А, значит, Б сам является скрытым членом этой секты, либо получает от нее финансирование, либо разделяет ее деструктивные идеи». Все. Дискуссия закрыта. Вам больше не нужно спорить с аргументами Б. Вы просто уничтожили его репутацию, связав его с «врагом».

Михаил Семенович замолчал, глядя в окно, где прохожие кутались в воротники от холодного ветра.

— Этот метод широко использовался в нацистской Германии, — тихо произнес он. — Там тоже сначала создавали образ «внутреннего врага», дегуманизировали его с помощью специальных терминов, а затем любого, кто

пытался заступиться или просто призвать к закону, объявляли пособником этого врага. Круг замыкается. Секты опасны, потому что они совершают опасные действия; а их действия опасны, потому что они секты. Это псевдологика, которая не имеет ничего общего с наукой, но она безотказно работает на уровне массовой психологии.

Я вспомнил материалы, которые изучал в библиотеке. Действительно, кандидат социологических наук В. Филькина прямо писала, что основные концептуальные понятия антикультистов — «тоталитарность» и «деструктивность» — не используются в научном мире, поскольку являются скорее ярлыками, несущими негативную коннотативную нагрузку, своеобразным «социальным оружием». Она отмечала, что книги и статьи лидеров этого движения основаны по большей части на ненадежных источниках информации — газетных историях, интернет-сообщениях, частных мнениях. И тем не менее, терминологию этих книг часто применяют органы государственной власти.

Я спросил Воронова о последствиях такого подхода для общества.

— Последствия катастрофические, — ответил он. — Когда внеправовые ярлыки начинают использоваться государственными органами, разрушается сама основа правосудия. Вместо презумпции невиновности мы получаем презумпцию виновности по религиозному или идеологическому признаку. Любая зарегистрированная, законопослушная организация может быть уничтожена в общественном мнении за несколько дней. Достаточно выпустить серию заказных репортажей, назвать ее «сектой», и от нее отвернутся партнеры, арендодатели расторгнут договоры, а правоохранительные органы начнут бесконечные проверки, парализующие работу. Это внесудебная расправа, осуществляемая руками запуганного общества.

Мы попрощались с Михаилом Семеновичем. Я шел по Покровке, чувствуя, как внутри меня на смену фоновому страху приходит злость. Я начинал понимать структуру этой машины. Она управлялась не законами, она работала на эмоциях, на изоэшеленной манипуляции языком.

Вернувшись домой, я решил провести детальный аудит главного источника, на котором держится вся антисектантская кампания в нашей стране.

Я заказал через интернет книгу, которая считается «библией» отечественного антикультизма — «Сектоведение. Тоталитарные секты» Александра Дворкина.

Когда книга оказалась у меня в руках, я открыл ее с твердым намерением анализировать текст так, как анализирую финансовые отчеты сомнительных фирм — ища скрытые проводки, несоответствия и манипуляции с данными.

Мой анализ подтвердил худшие опасения. Это не было научным исследованием. Это был классический образец того, что лингвисты называют «языком вражды» (hate speech).

Я начал искать независимые экспертизы этой книги. Оказалось, что профессиональные лингвисты и юристы уже проводили комплексный анализ «Сектоведения». Их выводы были однозначными и пугающими.

Текст книги содержит явные признаки идеологии религиозной эксклюзивности и превосходства. По своей внутренней логике и риторике она воспроизводит модель, сходную с идеологией «расовой чистоты» времен нацизма, но перенесенную в религиозную сферу. В ней последовательно проводится мысль о том, что только одна конкретная религиозная организация является «истинной и чистой», в то время как все остальные конфессии и движения трактуются как ложные, дьявольские, деструктивные и подлежащие искоренению.

Авторы экспертиз отмечали, что использованные в книге речевые стратегии не являются случайными стилистическими приемами. Они образуют единую, системно организованную структуру, направленную на достижение конкретного эффекта — возбуждения ненависти, вражды и унижения человеческого достоинства по признаку отношения к религии. Текст целенаправленно конструирует образ врага, используя методы демонизации, дегуманизации и патологизации. Представители других конфессий изображаются как психически неполноценные люди, лишенные собственной воли, марионетки в руках корыстных лидеров.

С точки зрения действующего законодательства, в частности Федерального закона № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», содержание этой книги полностью соответствует признакам экстремистских материалов. Она публично разжигает религиозную рознь, пропагандирует

неполноценность граждан по признаку их религиозной принадлежности и косвенно побуждает к враждебным действиям против них.

Если бы закон применялся беспристрастно, эта книга давно должна была быть запрещена, а ее автор привлечен к ответственности по статье 282 Уголовного кодекса. Но вместо этого книга свободно продается, в том числе на церковных прилавках, а ее терминология используется чиновниками и судьями.

Почему так происходит? Ответ на этот вопрос я нашел в материалах круглых столов и конференций, где выступали сами антикультисты. И этот ответ поразил меня своим цинизмом.

Оказалось, что лидеры антикультового движения сами активно выступают против введения юридического понятия «секта» в законодательство. На одной из встреч главный идеолог этого движения прямо заявил, что если ввести четкое юридическое определение, то в суде придется доказывать на основании конкретных фактов, что организация действительно является сектой, а выдвинутые против нее обвинения имеют реальные основания. И добавил: «Мы проиграем эти суды».

Они открыто признавали, что бездоказательно обвиняют людей в том, чего те не совершали, создавая прецеденты в общественном мнении. Их устраивала именно юридическая пустота. Отсутствие закона позволяло им действовать безнаказанно. Как заявлял лидер движения: «Любой человек, не опасаясь наказания, может организацию, которую он считает сектой, называть сектой».

Это был отказ от презумпции невиновности, отказ от базовых конституционных прав граждан демократического общества — свободы совести и свободы вероисповедания. Это был триумф произвола, завернутый в обертку заботы о «духовной безопасности».

Я сидел на кухне. Было уже за полночь. На столе лежала тяжелая книга в темной обложке — источник той самой ментальной заразы, которая заставила меня несколько дней назад попытаться не пустить собственную дочь в кино.

За стеной тихо спала Даша. На подоконнике посапывал Федот. Мир вокруг казался спокойным, но я знал, что это спокойствие иллюзорно. Мы живем в обществе, где правила игры могут быть изменены в любой момент с помощью нескольких пугающих слов. Где любого из нас можно объявить «сектантом» или

«пособником секты» просто за то, что мы читаем не те книги, занимаемся не тем спортом или задаем слишком много вопросов.

Я понял, что отсутствие юридических определений — это не ошибка законодателя. Это сознательно оставленная лазейка. Юридическая пустота, заполненная языком вражды, — это идеальная среда для управления обществом через страх. Запуганный человек не требует соблюдения законов. Он требует защиты от выдуманного врага, добровольно отдавая свою свободу тем, кто держит в руках пульт от его эмоций.

Глава 3. Французский прецедент и эхо Муссолини

Осенний дождь за окном сменился мокрым снегом, который мгновенно таял, едва коснувшись серого московского асфальта. На моем рабочем столе скопилась внушительная стопка распечаток. Здесь были выдержки из судебных решений, заключения лингвистов, монографии по социологии религии и распечатанные страницы европейских законодательных вестников.

После того как я обнаружил, что пугающие термины «тоталитарная секта» и «деструктивный культ» полностью отсутствуют в правовом поле нашей страны, мне казалось, что это локальная проблема. Я думал, что столкнулся с типичной для постсоветского пространства правовой неразберихой, когда громкие слова из телевизора заменяют реальные статьи уголовного кодекса. Мне хотелось верить, что в странах с устоявшимися демократическими институтами, где права человека и свобода совести декларируются как высшие ценности, ситуация выглядит иначе.

Я решил направить свое исследование на Запад. Мой взгляд остановился на Франции — стране, которая традиционно считается родиной современных прав человека, свободы, равенства и братства. Но то, что я обнаружил в официальных французских документах за 2024 год, заставило меня по-новому

взглянуть на масштабы происходящего. Это был не просто юридический казус. Это была целенаправленная, системная атака на базовые свободы граждан, разворачивающаяся прямо сейчас, в режиме реального времени.

Чтобы разобраться в тонкостях французского законодательства, мне не хватало простого чтения текстов через онлайн-переводчик. Нужен был человек, понимающий внутреннюю кухню французской политики. Через профессиональные контакты в сфере международного аудита мне удалось связаться с Жаном-Пьером Дюбуа (имя изменено по его просьбе), независимым юридическим аналитиком и журналистом из Парижа, который на протяжении многих лет отслеживал законотворческую деятельность французского парламента.

Наш разговор состоялся по защищенной видеосвязи поздним вечером. Жан-Пьер сидел в своем кабинете на фоне заставленных книгами полок, устало потирая переносицу. На нем были старомодные очки, а в руках он держал объемистую папку с документами.

— Сергей, то, что произошло в Париже весной 2024 года, повергло в шок многих практикующих юристов и правозащитников, — начал Жан-Пьер, его голос звучал глухо через динамики моего ноутбука. — Девятого апреля Национальное собрание Франции приняло новый антикультаовый закон. Это решение было продавлено правительством с невероятным упорством, несмотря на то что верхняя палата парламента — Сенат — дважды, последний раз второго апреля, полностью отвергала предложенный текст. В нашей законодательной системе есть особенность: если между Сенатом и Национальным собранием возникают непримиримые разногласия, последнее слово остается за Национальным собранием. И правительство этим безжалостно воспользовалось.

Жан-Пьер открыл папку и продемонстрировал мне распечатку голосования.

— Посмотрите на эти цифры. Даже в Национальном собрании, где у сторонников президента сильные позиции, оппозиция законопроекту была огромной. Закон прошел с результатом сто сорок шесть голосов «за» и сто четыре «против». Это минимальный перевес для документов такого уровня.

Почему же была такая спешка и такое сопротивление? Все дело в содержании закона.

Он вывел на экран текст статьи, которая вызвала самые ожесточенные споры. Закон вводил в Уголовный кодекс Франции новую норму — статью 223-1-2, которая криминализирует «подстрекательство к отказу от необходимого медицинского или профилактического лечения». Наказание за это деяние — до одного года лишения свободы и внушительный денежный штраф.

— Официальным предлогом, — продолжил Жан-Пьер, — послужили события времен пандемии COVID-19. Правительство утверждало, что в этот период в стране активизировались различные неформальные группы и «секты», которые распространяли антивакцинальные идеи и призывали людей отказываться от официальной медицины. Но дьявол, как всегда, кроется в деталях и формулировках. Текст закона составлен настолько расплывчато, что под его действие может попасть любой человек, высказавший сомнение в эффективности того или иного лекарства или метода лечения.

Я слушал Жан-Пьера и сопоставлял его слова с тем, что знал о методах работы антикультовых групп.

— Но ведь во Франции есть Государственный совет, — заметил я. — Разве он не должен оценивать законопроекты на предмет соответствия конституции и правам человека?

— В том-то и дело! — Жан-Пьер эмоционально всплеснул руками. — Государственный совет Франции, высший орган административной юстиции, при предварительном рассмотрении этого законопроекта настоятельно рекомендовал полностью исключить это положение. В своем заключении совет прямо указал, что данная норма представляет серьезную опасность для свободы слова и, что особенно важно, для «свободы научной дискуссии». Представьте себе врача или ученого, который на конференции высказывает сомнения в безопасности нового препарата. По этому закону его можно привлечь к уголовной ответственности, если его выступление будет расценено как «подстрекательство к отказу от лечения». Но правительство Эммануэля Макрона просто проигнорировало рекомендацию Государственного совета. Они пошли напролом.

Жан-Пьер сделал паузу, чтобы глотнуть воды, а затем продолжил:

— Но это еще не все. Закон существенно расширил полномочия государственного антикультового агентства MIVILUDES — Межминистерской миссии по бдительности и борьбе с культовыми отклонениями. Теперь это ведомство, которое напрямую подчиняется премьер-министру, фактически встроено в судебную систему. Закон официально разрешает частным антикультовым организациям участвовать в судебных процессах против «культов» в качестве гражданских истцов. Более того, он прямо поощряет судей и прокуроров запрашивать официальное мнение MIVILUDES по делам, которые находятся на рассмотрении. Представьте себе независимый суд, в который государственное агентство присылает свое «экспертное мнение» о том, является ли подсудимый членом «опасной секты». О какой беспристрастности и презумпции невиновности может идти речь?

После разговора с Жан-Пьером я долго не мог уснуть. Я сидел в темноте, глядя на экран телефона. Мне нужно было увидеть, как эта система работает на практике. Как именно французские антикультисты и государственные органы используют свои полномочия для фабрикаций дел и создания нужного общественного мнения.

Я начал изучать архивы французских судебных процессов и наткнулся на конкретный микро-кейс, который детально описывал технологию создания «жертв» — метод, без которого существование антикультовых организаций теряет всякий смысл. Это была история общины в городе Лизьё (Lisieux), произошедшая в июне 2007 года.

Анализируя документы этого дела, я обнаружил публикацию известного итальянского социолога религии, профессора Массимо Интровинье, под названием «Франция: как фабрикует “жертв” сект». Факты, изложенные в ней, поражали своей циничной простотой.

Двадцать седьмого июня 2007 года по инициативе частной антикультовой организации французская жандармерия провела масштабную силовую операцию. Вооруженные полицейские ворвались на территорию мирной религиозной общины в Лизьё. Все члены движения были задержаны и доставлены в полицейские участки. Самое удивительное заключалось в том, что

задержанные не обвинялись в совершении преступлений. Полиция официально объявила, что задерживает их как «жертв» психологического насилия со стороны их лидера, «гуру».

Офицер полиции, проводивший операцию, позже прямо объяснил журналистам, что действовал по рекомендации антикультовых психиатров: «они взяли всех последователей под стражу». Цель этого задержания была сформулирована с предельной откровенностью: «Мы должны были полностью обезвредить группу, сделать так, чтобы последователи не могли общаться друг с другом».

Среди задержанных оказалась молодая женщина, фигурировавшая в материалах дела под псевдонимом «Корали». Она не считала себя жертвой, не имела никаких претензий к общине и не собиралась писать никаких заявлений. Однако система уже была запущена. Корали оказалась в полной изоляции, отрезанная от близких и друзей. К ней не допускали никого, кроме следователей и специально подготовленных антикультовых психиатров.

В ходе многодневных допросов Корали подверглась жесточайшему психологическому давлению. Ей предъявили обвинение в соучастии в деятельности группы и прямо заявили: если она продолжит утверждать, что не является жертвой и что в общине все происходило добровольно, ей грозит реальный тюремный срок от пятнадцати до двадцати лет. Но у нее есть альтернатива. Если она согласится признать себя «жертвой промывания мозгов», даст показания против лидера общины и согласится сотрудничать с антикультовыми организациями, все обвинения с нее будут немедленно сняты.

Это был классический шантаж, осуществляемый от имени государства. Корали сломалась. После шести месяцев предварительного заключения, в течение которых она была лишена возможности видеть своих детей, она согласилась подписать нужные показания.

В интервью газете *Ouest France* она позже рассказывала о своем опыте, используя формулировки, которые ей явно навязали психиатры:

Боль от того, что я не видела своих детей, открыла брешь, которая позволила мне уйти глубоко внутрь себя. Тюрьма стала лекарством.

Антикультисты полностью переписали ее прошлый опыт, представив его как результат «промывания мозгов». Прокуроры немедленно сняли с нее все обвинения, переведя ее из статуса подозреваемой в статус потерпевшей. Но за это освобождение ей пришлось заплатить своей личностью. Корали обязана была доказать успешность своего «депрограммирования». Она стала активным деятелем антикультового движения, начала выступать на конференциях, давать интервью СМИ и дискредитировать организацию, к которой когда-то принадлежала. Она превратилась в живой инструмент пропаганды.

Этот случай наглядно показывал, как работает французская машина: сначала человека насильно изолируют, затем с помощью психологического насилия и шантажа заставляют отказаться от своих убеждений, а затем используют его как «доказательство» существования «опасных культов».

Мне нужно было понять, почему европейское научное сообщество не бьет в набат, видя подобные методы. Неужели никто не пытается противостоять этому безумию на международном уровне?

Поиск привел меня к имени доктора Рафаэллы ди Марцио — известного итальянского эксперта в области психологии религии, основателя и директора Центра изучения свободы вероисповедания, убеждений и совести (LIREC). Я выяснил, что в ноябре 2023 года, когда французский законопроект только обсуждался в Сенате, доктор ди Марцио направила французским законодателям официальное обращение, в котором содержалось жесткое и аргументированное предостережение.

Я решил связаться с доктором ди Марцио. Найти ее контакты оказалось несложно через официальный сайт LIREC. Я написал ей письмо, подробно изложив суть своего расследования и свои опасения как обычного человека, столкнувшегося с этой системой. К моему удивлению, она ответила уже на следующий день и согласилась на интервью по видеосвязи.

Рафаэлла ди Марцио оказалась обаятельной, но очень серьезной женщиной с проницательным взглядом. Она говорила по-английски с мягким итальянским акцентом, тщательно подбирая слова.

— Сергей, я очень рада, что вы, человек не из академической среды, обратили внимание на эту проблему, — сказала доктор ди Марцио. — То, что

происходит сейчас во Франции, — это не просто локальный закон. Это попытка легализовать на государственном уровне концепции, которые давно признаны научным сообществом несостоятельными и опасными.

Она открыла на своем компьютере текст своего обращения к французскому Сенату и зачитала ключевой тезис:

«Этот законопроект преподносится как желание защитить людей от вредного воздействия, якобы имеющего место в “культах”, но, согласно моему опыту и исследованиям в этой области, такой законопроект представляет реальную угрозу для свободного осуществления основных прав людей и семей, принадлежащих к религиозным меньшинствам».

— Понимаете, Сергей, — продолжила доктор ди Марцио, — в основе всех этих антикультовых законов лежит одна и та же идея — идея о том, что «культи» совершают психологическое насилие, так называемое «манипулирование сознанием», «промывание мозгов» или «психологическое подчинение». Но за двадцать пять лет моих эмпирических исследований в области психологии религии я не нашла ни одного научного подтверждения этой теории. Ее просто не существует в академической науке. Это псевдонаучный конструкт, созданный с одной целью — дискредитировать тех, чьи взгляды отличаются от общепринятых.

— Но почему эта теория так популярна? — спросил я.

— Потому что она очень удобна для обывателя и для власти, — грустно улыбнулась Рафаэлла. — Она дает простое объяснение сложным вещам. Если ваш взрослый сын вдруг решает уйти из престижного университета, стать вегетарианцем и уехать жить в экологическую общину, вам, как родителю, очень трудно это принять. Вам больно думать, что это его сознательный выбор, что вы, возможно, упустили контакт с ним. И тут приходят антикультисты и говорят: «Это не его выбор. Ему промыли мозги. Его подчинили с помощью секретных психологических методик». Вам сразу становится легче. Ваш сын — не предатель ваших ценностей, он просто «жертва», «зомби». Вы снимаете ответственность с себя и с него. А власть получает идеальный инструмент для изоляции любых неудобных групп.

Доктор ди Марцио подалась вперед, ее взгляд стал жестким.

— В своем обращении к французскому Сенату я прямо предупредила их: Франция совершает ту же трагическую ошибку, через которую моя страна, Италия, уже проходила в двадцатом веке. Мы знаем, к чему это приводит.

— Вы имеете в виду закон о «плагио»? — уточнил я, сверяясь со своими записями.

— Именно, — кивнула Рафаэлла. — В 1930 году, в период расцвета фашистского режима Бенито Муссолини, в Уголовный кодекс Италии была введена статья 603, каравшая за так называемое «плагио» (plagio). На латыни это слово означает порабощение, а в современном контексте это полный аналог термина «промывание мозгов». Статья 603 предусматривала суровое уголовное наказание за подчинение человека своей власти таким образом, чтобы привести его в «состояние полного подчинения».

Она сделала паузу, давая мне возможность осознать исторический контекст.

— Муссолини ввел этот закон не из заботы о душевном здоровье итальянцев. Это был чисто политический инструмент. Фашистскому режиму нужно было как-то объяснить, почему в стране появляются люди, несогласные с государственной идеологией. Официальная пропаганда утверждала, что итальянский народ единогласно поддерживает дуче. Следовательно, любой антифашист — это не человек с альтернативными политическими взглядами, а тот, кто попал под «пагубное, чрезмерное влияние» врагов государства. Закон о «плагио» позволял без лишних формальностей отправлять в тюрьму любого, кто осмеливался высказывать критические мысли, обвиняя его в том, что он «подчинил разум» своих последователей.

— И как долго просуществовал этот закон? — спросил я.

— Больше пятидесяти лет, — ответила доктор ди Марцио. — Только в 1981 году Конституционный суд Италии своим решением полностью отменил статью о «плагио», признав ее неконституционной. И причины, по которым суд принял это решение, чрезвычайно важны для понимания того, что происходит сегодня во Франции.

Рафаэлла открыла архивный документ на итальянском языке и начала переводить для меня ключевые выводы Конституционного суда Италии 1981 года.

— Первая группа аргументов суда была эмпирической и научной. Суд указал, что состояние «полного подчинения», если понимать его как полное подавление свободы и автономии личности одними психическими средствами, практически невозможно объективно установить и доказать. В решении подчеркивалось, что нет надежных критериев, позволяющих отделить убеждение от внушения и измерить степень такой психологической зависимости в уголовно-правовом смысле. Суд признал, что формулировка закона является чрезвычайно расплывчатой, неопределенной и не поддается объективному измерению. А это прямо противоречит конституционному принципу законности, согласно которому уголовный закон должен быть предельно точным.

Она перевернула страницу.

— Но еще более важной была вторая группа аргументов — политическая. Конституционный суд Италии прямо указал, что за этой нормой скрывается колоссальная опасность идеологической дискриминации. Судьи рисковали начать оценивать образ жизни, убеждения и идеи людей, которые просто противоречили господствующему в обществе мнению или мнению самого судьи, под предлогом борьбы с «методами индоктринации». Закон о «плагио» позволял большинству преследовать любое меньшинство, чье поведение казалось странным или непривычным.

Доктор ди Марцио откинулась на спинку кресла и грустно посмотрела на меня.

— Процессуальным поводом для рассмотрения статьи 603 стало уголовное дело против католического священника дона Эмилио Грассо. Родители молодых людей обвиняли его в том, что он «промыл мозги» их взрослым детям, которые отделились от семей и посвятили себя миссионерскому служению и волонтерской деятельности в созданной им общине Redemptor Hominis. В ходе дела судья-инструктор Римского трибунала 2 ноября 1978 года поставил перед Конституционным судом вопрос о соответствии статьи 603 Конституции. В 1981

году Конституционный суд признал статью неконституционной, и это фактически закрыло одну из самых спорных страниц в истории итальянского уголовного права. И вот теперь, спустя сорок три года, Франция фактически реанимирует этот закон под новой, современной оберткой, вводит новую норму о «состоянии психологического или физического подчинения» и возвращает в уголовное право сходную опасную логику: государство снова пытается юридически описать и наказывать трудноизмеримое психологическое влияние.

— Но почему французские законодатели проигнорировали ваш опыт и предупреждения? — спросил я.

— Потому что страх сильнее разума, Сергей, — тихо ответила Рафаэлла. — Антикультовые группы в Европе сегодня — это влиятельное лобби. Они тесно связаны с государственными структурами, получают финансирование из бюджета и имеют постоянный доступ к ведущим СМИ. Они создают ту самую атмосферу постоянной тревоги, о которой вы говорили. Они пугают общество несуществующими угрозами, чтобы люди сами требовали принятия жестких, репрессивных законов. И когда такой закон принимается, общество аплодирует, не понимая, что оно только что добровольно отдало часть своей свободы.

Я поблагодарил доктора ди Марцио за этот глубокий и честный разговор. Когда экран ноутбука погас, я еще долго сидел в тишине своей московской квартиры.

Перед моими глазами выстраивалась пугающая историческая спираль. В 1930 году фашистский режим вводит закон для подавления инакомыслия через концепцию «порабощения разума». В 1981 году демократическая Италия с трудом избавляется от этого наследия, признав его неопределенным, практически не поддающимся объективному доказыванию и опасным с точки зрения произвольного применения. А в 2024 году Франция — один из столпов Европейского союза — принимает закон, который практически воспроизводит ту же самую логику, игнорируя предупреждения собственных высших судебных инстанций и ведущих мировых ученых.

Я подошел к окну. На улице окончательно стемнело. Снег на стекле превращался в капли воды, медленно стекавшие вниз, оставляя чистые дорожки на пыльном стекле.

В комнату тихо вошла Лена. Она положила руку мне на плечо.

— Сереж, ты опять весь вечер в этих бумагах. Иди поужинай. Даша уже пришла, рассказывает что-то смешное про школу.

Я повернулся к жене, обнял ее и почувствовал, как тепло ее тела постепенно разгоняет тот холод, который поселился во мне во время чтения французских законов.

— Да, Лен, сейчас приду. Просто пытаюсь сопоставить некоторые вещи.

— Ты слишком много на себя берешь, — тихо сказала она, заглядывая мне в глаза. — Ты не можешь исправить весь мир.

— Весь мир не могу, — согласился я. — Но я хочу, чтобы наш мир — мир, в котором живешь ты, я и Даша, — оставался безопасным. И чтобы эта безопасность не была иллюзией, за которую нам придется заплатить своим разумом.

Я пошел на кухню. Даша сидела за столом, уплетая макароны и эмоционально жестикулируя, рассказывая о новом учителе физики. Кот Федот сидел рядом на стуле, преданно глядя ей в рот в надежде на кусочек сыра. Все было так просто, так по-домашнему тепло.

Но теперь я знал, что эта простота — очень хрупкая вещь. В Париже, Риме и десятках других европейских городов прямо сейчас работают люди, которые считают, что имеют право решать, какие убеждения являются «правильными», а какие — «культовыми отклонениями». Они создают законы, которые позволяют врываться в дома, задерживать людей без обвинения, объявлять их «жертвами» против их воли и принудительно «лечить» от их взглядов.

И самое страшное, что эта система не имеет границ. Она транснациональна. Методы, опробованные во Франции, быстро становятся ориентиром для антикультовых структур в других странах. Они обмениваются опытом, проводят совместные конференции, координируют свои действия через международные зонтичные организации.

Я вернулся в свой кабинет, когда все уже спали. Я открыл ноутбук и посмотрел на список документов, которые мне еще предстояло изучить. Мое расследование вывело меня на международную сеть, и следующий след вел в

Германию. Там, судя по отчетам правозащитных организаций, система контроля пошла еще дальше, внедрив механизмы, которые напрямую влияли на право людей на работу и профессию.

Я положил руку на мышку. Мой палец замер. Я понимал, что каждый мой шаг вглубь этой темы делает возвращение к прежней, спокойной жизни бухгалтера все более невозможным. Но я также понимал, что не могу остановиться. Правда, которую я находил, была слишком важной, чтобы ее игнорировать.

Я нажал на ссылку, открывающую немецкие правительственные документы. На экране появились ровные, аккуратные строчки на немецком языке. Расследование продолжалось.

Глава 4. Немецкие фильтры и тени тридцатых

— Сергей, ты меня слышишь? — голос Ирины Петровны, нашего старшего партнера, прозвучал как резкий щелчок пальцами перед самым моим носом.

Я вздрогнул и поспешно свернул окно браузера, в котором был открыт плотный англоязычный PDF-файл с докладом Комиссии США по международной религиозной свободе (USCIRF). На экране снова появилась привычная, но сейчас совершенно чужая таблица Excel с расчетом амортизации основных средств строительной компании.

— Да, Ирина Петровна, извините. Задумался над проводками по лизингу.

— Ты думаешь над ними уже третий час, Сергей, — она тяжело вздохнула и положила на край моего стола массивную синюю папку. Стук получился весомым, приземляющим. — У нас аудит «ПромТехСтроя» горит. Клиент нервничает, руководство требует отчет к пятнице. Если мы сорвем сроки, неустойка ляжет на твой отдел. Соберись, пожалуйста. Ты в последнее время сам

не свой. То бледный ходишь, то в монитор смотришь так, будто там не цифры, а приговоры.

— Я все сделаю, Ирина Петровна. Сегодня задержусь, но закончу.

— Очень на это надеюсь, — она повернулась и пошла к выходу из кабинета, ее каблук чеканил ровный, требовательный ритм по офисному линолеуму.

Я потерял глаза. Она была абсолютно права. Моя привычная, стерильная и предсказуемая жизнь профессионального аудитора трещала по швам под тяжестью моего частного расследования. Цифры в моих таблицах, которые раньше казались мне единственной важной реальностью, теперь выглядели лишь блеклыми знаками на фоне тех пугающих закономерностей, которые я нащупал. Но остановиться я уже не мог. Если в финансовом аудите ты находишь след систематического вывода активов, ты обязан докопаться до конечного бенефициара. В аудите человеческого страха, который я затеял, правила были теми же.

Я дождался обеденного перерыва, накинул пальто и вышел на улицу. Мне нужно было сменить обстановку, почувствовать под ногами твердую землю и встретиться с человеком, который обещал помочь мне перевести сухой юридический язык немецких документов на язык суровых фактов.

Мокрый снег с дождем мгновенно превращал московские тротуары в скользкую серую кашу. Я шел по Лесной улице, кутаясь в воротник, а в кармане моего пальто лежала распечатка того самого доклада USCIRF. Документ назывался «Вопросы религиозной свободы в Европейском союзе». И то, что в нем описывалось применительно к Германии, никак не укладывалось в мою картину мира. Германия в моем представлении всегда была эталоном правового государства, страной, которая выстроила жесточайшие предохранители против любого проявления государственной дискриминации после катастрофы двадцатого века. Но факты говорили об обратном.

Для встречи я выбрал небольшое, полупустое кафе на углу Лесной и 3-й Тверской-Ямской. Мой собеседник, Ханс-Дитер Вебер, уже сидел за угловым столиком, неторопливо потягивая черный кофе. Вебер был немецким комплаенс-аудитором, работавшим в международной сети, с которой сотрудничала наша фирма. Он приехал в Москву на неделю для закрытия

сделки по слиянию крупного логистического оператора и согласился уделить мне время, узнав, что я интересуюсь вопросами немецкого административного права.

Это был высокий, подтянутый мужчина лет пятидесяти пяти, в безупречно сидящем сером костюме, с аккуратно подстриженными стальными волосами и внимательным, слегка ироничным взглядом за стеклами тонких очков.

— Hallo, Sergey, — произнес он, приподнимаясь и пожимая мне руку сухим, крепким рукопожатием. — Твой звонок заинтриговал меня. Ты говорил так, будто у нас обнаружилась гигантская дыра в балансе. Что случилось?

— Привет, Ханс. С балансом все в порядке, — я присел напротив и заказал официанту чай. — Проблема в другом. Я провожу личное исследование, и мне нужна твоя помощь как специалиста по немецкому законодательству и процедурам комплаенса. Я наткнулся на термин «сект-фильтры» (нем. Sektenfilter), которые применяются в Германии. Расскажи мне, как это устроено изнутри.

Вебер на мгновение замер, его чашка зависла в нескольких сантиметрах от блюда. Он аккуратно поставил ее, его лицо утратило ироничное выражение, став профессионально-холодным.

— Sektenfilter... — тихо повторил он. — Не думал, что в России кто-то интересуется этой темой. Это довольно специфическая область, о которой у нас в Германии не любят говорить вслух, особенно с иностранными коллегами. Это то, что мы называем «неудобной практикой».

— Но это существует? — спросил я, доставая блокнот.

— О да, это существует и активно применяется уже несколько десятилетий, — Вебер откинулся на спинку стула и скрестил пальцы на груди. — Давай я объясню тебе механику, раз уж ты аудитор и понимаешь, как работают системные барьеры. Представь себе, что ты — обычный гражданин Германии. Ты получил хорошее образование, у тебя отличные рекомендации, ты подаешь заявление на работу в государственное учреждение. Или ты — владелец небольшой компании, скажем, клининговой службы или IT-агентства, и хочешь принять участие в тендере на обслуживание муниципальных объектов в Мюнхене или Гамбурге.

Он сделал паузу, словно подбирая наиболее точные слова.

— Перед тем как рассмотреть твою заявку по существу, чиновник протягивает тебе лист бумаги. Это декларация, так называемая *Schutzklärung* — заявление о защите. И в этой декларации черным по белому написано, что ты, твоя компания, твои сотрудники и даже твои волонтеры обязаны подтвердить, что вы не применяете, не обучаете и не распространяете технологии Л. Рона Хаббарда, а в некоторых формах также подтверждаете отсутствие связи с организациями или курсами, относимыми к саентологии.

— Но ведь это фактически затрагивает религиозные или мировоззренческие убеждения при трудоустройстве, получении субсидии, участии в тендере или заключении договора, — заметил я. — В международном комплаенсе это серьезное нарушение. Любой аудит должен был бы оценить такую практику как высокий риск дискриминации.

— Абсолютно верно, — кивнул Вебер. — Это вопиющее нарушение. Согласно Директиве ЕС о равенстве в сфере занятости, любые ограничения при трудоустройстве по признаку религии или убеждений строго запрещены. Это также прямое нарушение Европейской конвенции о правах человека — Статьи 9, гарантирующей свободу мысли, совести и религии, и Статьи 14, запрещающей дискриминацию. Более того, в Германии были многочисленные судебные процессы. Люди, потерявшие работу или контракты из-за отказа подписывать эти фильтры, доходили до административных и федеральных судебных инстанций. И наши суды — Федеральный административный суд — признавали незаконными конкретные случаи, когда получение публичной субсидии или доступа к работе ставилось в зависимость от такой декларации.

— И что же? Государство подчинилось решениям собственных судов?

Вебер горько усмехнулся.

— В том-то и фокус, Сергей. Это пример того, как государственная машина обходит закон, который сама же обязана защищать. Администрации земель и муниципалитетов просто меняют формулировки. Они называют это «мерами по защите конституции» или «проверкой на лояльность демократическим ценностям». Практика продолжается. Если ты отказываешься подписать эту бумагу, твоя заявка отправляется в корзину. Если ты представляешь компанию

и выясняется, что один из твоих субподрядчиков или сотрудников посещал лекции саентологов в течение последних трех лет, ты обязан расторгнуть с ним контракт. В противном случае государство расторгнет контракт с тобой. Это экономическое удушение. Гражданская смерть без суда и следствия.

Я слушал Ханса, и в моей голове всплывали картины из недавнего разговора с итальянским экспертом. Там — уголовный закон, принятый вопреки мнению Государственного совета. Здесь — административные фильтры, применяемые вопреки решениям судов. Системы были разными, но почерк оставался прежним: создание условий, при которых человек лишается базовых прав просто за то, что его взгляды не соответствуют одобренному государством стандарту.

— Ханс, — спросил я, — но почему именно саентологи? Почему государство так заиклено на них, что готово нарушать собственные законы?

— Саентология в данном случае — это просто удобная мишень, — ответил Вебер, глядя в окно на проезжающие машины. — На их месте могла быть любая другая группа. Когда обществу долго и профессионально внушают страх перед конкретным «врагом», общество соглашается на любые меры контроля. Люди думают: «Ну, меня-то это не касается, я же не саентолог». Они не понимают, что прецедент создан. Если государству позволено дискриминировать одну группу граждан на основании их убеждений, игнорируя конституцию и суды, значит, завтра этот же механизм может быть применен к любому другому меньшинству. К вегетарианцам, к критикам правительственной политики, к кому угодно.

Мы проговорили еще около часа. Вебер приводил примеры конкретных судебных решений, рассказывал о том, как крупные немецкие концерны вынуждены внедрять эти фильтры в свои внутренние процедуры, чтобы не потерять государственные субсидии. Это была отлаженная, циничная система, которая маскировалась под защиту демократии, но на деле разрушала ее основы.

Попрощавшись с Хансом, я не поехал в офис. Я сослался на плохое самочувствие и отправился домой. Мне нужно было побыть одному, в тишине, чтобы сопоставить то, что я узнал, с историческим контекстом. Слова Вебера о «экономическом исключении» и «проверке на лояльность» не давали мне

покоя. Они будили в моей памяти исторические аналогии, которые я, как человек, родившийся в СССР, привык ассоциировать исключительно с самыми темными страницами европейской истории.

Я заперся в своем кабинете. Кот Федот, почувствовав мое напряжение, тихо запрыгнул на подоконник и уставился на меня своими зелеными глазами. Я открыл ноутбук и начал искать исторические документы, касающиеся административной практики Германии в тридцатые годы двадцатого века.

Я знал, что нацистский режим не возник в один день. Он строился постепенно, шаг за шагом, через принятие законов и директив, которые поначалу казались обывателям вполне логичными мерами по «наведению порядка» и «защите государства».

Первое, на что я обратил внимание, были Нюрнбергские расовые законы 1935 года. Мы привыкли ассоциировать их с началом Холокоста, с физическим уничтожением людей. Но если посмотреть на их первоначальную, административную фазу, параллели с современными «сект-фильтрами» оказываются пугающе важными — как предупреждение о том, с чего начинается правовое исключение человека из общества.

В середине 1930-х годов нацистское государство начало с того, что запретило евреям работать в государственных структурах. Профессоров увольняли из университетов, врачей лишали практики в государственных больницах, юристам запрещали вести дела в судах. Им запретили служить в армии и полиции. Это была та самая «гражданская смерть», о которой говорил Вебер. Людей лишали возможности зарабатывать на жизнь, обеспечивать свои семьи, просто на основании их происхождения. Общество молчало, потому что пропаганда уже дегуманизировала эту группу, представив ее как «угрозу для немецкого народа».

Но нацисты не ограничились только этническими группами. Параллельно разворачивалась кампания против тех, кого режим клеймил как «секты».

Я углубился в изучение архивов Службы безопасности СС (СД) и наткнулся на документ, который заставил меня похолодеть. Это была группа материалов СД о борьбе с религиозными меньшинствами, включая инструкции и сводки по так называемому «сектантству». Рейнхард Гейдрих в то время возглавлял СД, а

с 1936 года — полицию безопасности; Главное управление имперской безопасности было создано позднее, в 1939 году. Именно Гейдрих в 1942 году председательствовал на Ванзейской конференции, став одной из ключевых фигур механизма «окончательного решения».

Материалы СД фиксировали порядок выявления, наблюдения, регистрации, запрета и ликвидации организационных структур неугодных религиозных обществ. В этот список вошли десятки групп — от астрологов и теософов до последователей «Христианской науки» и Свидетелей Иеговы. Все они были обозначены как «секты», несущие угрозу для идеологического единства нации. Директива предписывала не просто запретить их деятельность, но и ликвидировать все связанные с ними организации, клубы, союзы, конфисковать их активы и имущество.

Я начал искать информацию о том, как именно нацистские спецслужбы собирали данные для этих запретов. И здесь мое расследование вывело меня на имя, которое стало ключевым связующим звеном между прошлым и настоящим.

Вальтер Кюннет.

Немецкий теолог, который в эпоху нацизма возглавлял Германский Апологетический центр (*Apologetische Centrale*), созданный при Протестантской церкви. Еще в 1932 году, до прихода Гитлера к власти, Кюннет начал составлять «черные списки» малых религиозных групп Германии. Его центр собирал антисектантские архивы, создавал специализированные библиотеки и разрабатывал первые методики дегуманизации и манипуляции общественным сознанием.

Когда нацисты пришли к власти, Апологетический центр Кюннета начал активно сотрудничать с государственными службами — СС, СД и гестапо. Они снабжали имперское министерство внутренних дел и министерство пропаганды Йозефа Геббельса материалами о политической позиции различных религиозных общин. На основе этих «экспертных» доносов составлялись государственные директивы по борьбе с сектантством.

Историк Хорст Юнгингер в своих исследованиях приводит поразительные цифры: если в 1931 году Апологетический центр собрал данные о 150

религиозных и идеологических сообществах, то к 1936 году в их архивных списках значилось уже около 500 групп, признанных «опасными».

Я читал эти строки и понимал, что передо мной разворачивается классическая схема, которую я уже видел в современной России и Франции. Сначала «эксперты» создают списки «опасных групп», затем массмедиа разворачивают масштабную кампанию по их дегуманизации, а затем государство включает репрессивный аппарат, используя эти списки как руководство к действию.

В 1938 году при непосредственном содействии немецких антикультистов было выпущено «Руководство по борьбе с сектами» (*Richtlinien zur Bekämpfung des Sektenwesens*), изданное под грифом «Секретное дело командования» Службы безопасности рейхсфюрера СС.

Я нашел текст этого руководства. В нем подробно описывалось, в чем именно заключается «опасность сект». Я выписал эти пункты в свой блокнот, потому что они поражали своей циничной, бюрократической точностью:

Опасность сект проявляется в следующих фактах:

1. Обучение членов эгоцентричным идеям и безразличию ко всем вопросам народа государства;

2. Проникновение марксистов и коммунистов;

3. Участие масонов, иудеев и международные связи;

4. Отказ давать присягу и использовать приветствие;

5. Противостояние всеобщей воинской повинности;

6. Отказ занимать посты в государстве и движениях (Германского трудового фронта, Защиты от воздушных атак, Организации нацистского социального обеспечения, Фонда помощи в зиму и т.п.);

7. Отказ в содействии бизнесам и деятельности, связанной с военной машиной;

8. Молитвы о здравии;

9. Эксплуатация и оскотинивание людей;

10. Противостояние национал-социалистической теории о Расе.

Я перечитал этот список несколько раз. Пункт шестой: «Отказ занимать посты в государстве...». Пункт седьмой: «Отказ содействовать предприятиям...».

Нацистское государство наказывало людей за то, что они не хотели интегрироваться в его тоталитарную структуру. Современное немецкое государство использует «сект-фильтры», чтобы не допустить людей к работе и контрактам, если они принадлежат к «неправильной» группе. Полярность изменилась, но суть осталась прежней: твоя экономическая состоятельность, твое право на труд и профессию напрямую зависят от твоей идеологической лояльности.

Я начал искать конкретные примеры того, как эти директивы ломали жизни обычных людей.

В архивах сохранилась история преследования Свидетелей Иеговы в нацистской Германии. Эта группа оказалась одной из первых, против кого был развернут маховик государственного насилия. К 1933 году в Германии насчитывалось около 25 тысяч верующих этой конфессии. Они отказались признать Гитлера своим фюрером, заявив, что их единственным руководителем является Иисус Христос. Они отказались давать присягу, использовать нацистское приветствие и служить в армии.

Реакция режима была мгновенной и беспощадной. Гитлер, по свидетельствам историков, пришел в ярость и пообещал истребить этот «выводок» в Германии. Их собрания были запрещены, литература конфискована и сожжена.

Но самое страшное началось тогда, когда к процессу подключилась «армия стукачей» — информаторов СД (V-Männer), которых внедряли в религиозные общины для сбора персональных данных, адресов и сведений о семьях верующих.

Я нашел в журнале *Spes Christiana* за 2003 год статью историка Иоганнеса Хартлаппа, в которой приводился конкретный случай доноса. 17 апреля 1937 года некий гражданин Э.Ц. из города Марклеберг написал заявление в Лейпцигскую государственную полицию:

В эти дни я получил рекламный буклет, который пересылаю вам с просьбой также исследовать эту «интернациональную» ассоциацию «третьей категории», изучить её и — надеюсь, ради защиты народа — запретить. Как бывший адвентист, могу сказать вам, что эта группа — обычно это лишь несколько человек, которые сбивают с толку остальных — основывается на таких принципах, как отказ от военной службы, воздержание от голосования и так далее. Иными словами, всё те же причины, по которым вы уже запретили другие ассоциации.

Реакция государственной машины была быстрой. Уже через два дня, 19 апреля 1937 года, эта группа адвентистов была официально распущена и запрещена местными полицейскими органами с опорой на чрезвычайное законодательство Рейха на основании Декрета рейхспрезидента о защите народа и государства от 28 февраля 1933 года.

Всего два дня. Один донос обиженного бывшего члена общины, наложенный на подготовленную «экспертами» почву, — и целая организация прекратила свое существование, а ее члены оказались под угрозой ареста.

И эти угрозы были не иллюзорными. За годы нацистской диктатуры от репрессий пострадали от 6 до 10 тысяч Свидетелей Иеговы. Более 6 тысяч были заключены в тюрьмы, свыше 8 тысяч отправлены в концентрационные лагеря — Дахау, Бухенвальд, Равенсбрюк. Они были первыми, кто столкнулся с этой системой. Их лишали работы, бизнеса, пенсий и пособий по безработице, объявив «антисоциальными элементами». У них отбирали детей — более 500 детей верующих были насильно разлучены с родителями и отправлены в нацистские исправительные школы для «перевоспитания».

Я сидел за столом, обхватив голову руками. В комнате было тихо, только Федот мерно мурлыкал на подоконнике. За окном шумел вечерний город, люди спешили домой, не подозревая о том, какие бездны скрываются за привычными новостными заголовками.

Я смотрел на свой блокнот, где рядом лежали выписки о немецких «сект-фильтрах» 2020-х годов и директивах СС 1930-х. Параллели были тревожными.

Современная Германия воспроизводит репрессивную систему нацистской Германии, ту же логику исключения «неблагонадежных» из экономической

жизни, что и нацистский режим на его начальном этапе. И самое страшное заключалось в том, что эта практика не была случайной ошибкой отдельных чиновников. Это была системная преемственность, которая передавалась из поколения в поколение через конкретные организации и конкретных людей.

Я начал искать информацию о том, как идеи Вальтера Кюннета и его Апологетического центра выжили после разгрома нацизма. Оказалось, что после войны Кюннет не понес никакого наказания. Он продолжил свою теологическую деятельность, а его методы и архивы были бережно сохранены и переданы его последователям.

В послевоенной Германии преемником этих идей стал Фридрих-Вильгельм Хаак, лютеранский пастор, который в конце 1960-х годов стал первым официальным «уполномоченным по вопросам сект» в Баварии. Именно Хаак активно лоббировал внедрение «сект-фильтров» и разработал современную терминологию для борьбы с религиозными меньшинствами.

Хаак, в свою очередь, был связан с датским теологом Йоханнесом Огордом, основателем международной антикультовой сети Dialog Center International. А Огорд стал учителем и наставником человека, который в 1993 году привез эти методы в Россию.

Александр Дворкин.

Я смотрел на это имя на экране своего ноутбука. Тот самый «нулевой пациент», который принес в наше общественное сознание термины «тоталитарная секта» и «деструктивный культ», оказался прямым наследником нацистской методологии Вальтера Кюннета.

Связь была прямой и документированной. Линия преемственности: Вальтер Кюннет — Фридрих-Вильгельм Хаак — Йоханнес Огорд — Александр Дворкин.

Дворкин не просто заимствовал термины. Он импортировал в Россию саму систему дегуманизации и административного преследования. Созданная им организация РАЦИРС (Российская ассоциация центров изучения религий и сект) воспроизводила многие приемы нацистского Апологетического центра. Они собирали «черные списки» неудобных организаций, публиковали клеветнические материалы в СМИ, создавая образ «внутреннего врага», и

активно сотрудничали с правоохранительными органами, читая лекции полицейским и военным, выдавая «экспертные заключения» для судов.

И результаты этой деятельности в России оказались трагическими. Первой религиозной организацией, которую полностью запретили на официальном уровне в современной России, стали те самые Свидетели Иеговы. Против мирных, законопослушных граждан был запущен маховик уголовного преследования, обысков, арестов и пыток. Они снова оказались первыми, как и в нацистской Германии, подтверждая страшную историческую закономерность.

Я закрыл ноутбук. Мои руки дрожали.

Я начинал это расследование, потому что просто испугался за свою дочь, потому что не пустил ее в кино из-за фоновой тревоги, навешанной новостями. Я думал, что столкнулся с личной психологической проблемой. Но теперь я видел перед собой гигантскую, транснациональную машину страха и дискриминации, которая пустила корни в самых разных странах — от Франции и Германии до России.

Эта машина работала на одних и тех же принципах, использовала одни и те же псевдонаучные теории о «промыывании мозгов» и одни и те же методы административного удушения. Она калечила жизни миллионов людей, лишая их работы, семей, свободы и здоровья, при полном попустительстве и даже поддержке со стороны государства.

И за этой машиной стояли конкретные люди. Люди, которые профессионально продавали обществу тревогу, чтобы получать финансирование, влияние и власть над человеческим разумом.

Я подошел к окну. На улице окончательно стемнело. Мокрый снег продолжал падать, засыпая серые московские крыши. В комнату тихо вошла Даша, она держала в руках кружку с чаем.

— Пап, ты чего в темноте сидишь? — спросила она, включая настольную лампу. — Опять свои цифры проверяешь?

Я посмотрел на ее светлое, улыбающееся лицо. На ее тонкие пальцы, сжимающие теплую кружку. И почувствовал, как внутри меня укрепляется твердая, холодная решимость.

— Нет, Даш. Цифры я уже проверил. Теперь я проверяю имена.

Я должен был сделать следующий шаг. Мне нужно было детально изучить биографию человека, который принес эту нацистскую заразу в мою страну. Понять, какие личные мотивы, какие скрытые механизмы двигали Александром Дворкиным, когда он создавал свою империю страха. Я должен был найти первоисточники, архивные документы и свидетельства очевидцев, чтобы сорвать маску с того, кто так долго держал пульт от нашего общего разума.

Глава 5. Идеологи нетерпимости

Снег за окном ложился на широкий жестяной карниз ровным, пушистым слоем, приглушая звуки засыпающего города. В квартире было тихо. Лена и Даша давно спали. На краю письменного стола, прямо на стопке распечатанных немецких документов, свернулся клубком кот Федот, изредка вздрагивая во сне усами.

Я сидел, уставившись в светящийся экран ноутбука, и чувствовал, как в висках начинает пульсировать знакомая тупая боль. Мое расследование, начавшееся с банального желания понять природу собственного страха за дочь, завело меня в такие дебри, о существовании которых я, обычный бухгалтер, даже не подозревал.

Предыдущие дни я провел, изучая немецкие «сект-фильтры» и ту пугающую историческую преемственность, которая вела от нацистских директив Рейнхарда Гейдриха и Апологетического центра Вальтера Кюннета к современным европейским практикам административного давления. Но один вопрос не давал мне покоя. Как эта сложная, отточенная десятилетиями западная методология дегуманизации и контроля над разумом оказалась на нашей почве? Кто стал тем «нулевым пациентом», который занес этот вирус религиозной нетерпимости в постсоветскую Россию, только-только пытавшуюся строить демократическое общество?

Имя этого человека всплывало в каждом документе, в каждой статье, посвященной борьбе с так называемыми «сектами» в России. Александр Леонидович Дворкин.

В публичном пространстве его портрет выглядел безупречно: профессор, неутомимый борец за чистоту православия, защитник традиционных ценностей, человек, создавший целую отрасль под названием «сектоведение». Но мой профессиональный аудиторский опыт подсказывал: когда отчет выглядит слишком идеально, нужно искать скрытые проводки. За любым масштабным общественным явлением всегда стоит конкретная человеческая история, личные мотивы, травмы и амбиции.

Я решил провести аудит биографии Александра Дворкина. Но не по гляцевым статьям из интернета, а по первоисточникам, архивным документам и его собственным ранним признаниям, сделанным еще до того, как он примерил на себя маску непогрешимого «гуру» отечественного антикультизма.

Мой поиск начался с телефонного звонка. Мне нужен был человек, который помнит эпоху конца семидесятых и начала восьмидесятых годов — время, когда формировалась третья волна советской эмиграции. Через коллег по работе я вышел на Валерия Семеновича, отставного социолога, который в советские годы занимался изучением диссидентского движения, а в девяностые работал в архивах, исследовавших интеграцию советских граждан в американское общество.

Мы встретились в его небольшой квартире на Соколе. Комната Валерия Семеновича напоминала букинистический магазин: стопки старых журналов «Новый мир» и «Знамя» высились до самого потолка, пахло сушеным шиповником, старой бумагой и цикорием. Сам хозяин, сухощавый старик в вязаном жилете поверх байковой рубашки, долго разглядывал меня через толстые линзы очков, прежде чем налить чай.

— Дворкин? — переспросил он, аккуратно стараясь не пролить чай на скатерть. — Как же, помню такого. В девяностые его имя гремело. Но вы, Сергей, ищите не там. Все смотрят на его церковную деятельность, на его лекции. А смотреть надо на то, кем он был до того, как стал «профессором». Вся его суть — там, в его американском периоде. И даже раньше — в его московской юности.

Валерий Семенович поднялся, подошел к одному из шкафов и после долгого шуршания бумагами достал плотную картонную папку на завязках.

— Вот, посмотрите. Это копия материалов уникального социологического проекта *Recent Soviet Immigrants in America* («Новые советские иммигранты в Америке»). Его проводил Колумбийский университет совместно с Лонг-Айлендским университетом в конце семидесятых годов. Они опрашивали молодых советских эмигрантов, только что прибывших в США. Интервьюером выступала Линн Виссон — известнейший американский лингвист и переводчик. И среди сотен анкет есть одна очень примечательная. Интервью Александра Дворкина, записанное в 1979 году. Ему тогда было всего двадцать четыре года. Он приехал в США в 1977-м. Это документ потрясающей искренности, потому что тогда Дворкин еще не знал, что станет «главным сектоведом», и говорил то, что думал.

Я бережно взял в руки пожелтевшие листы с машинописным текстом на английском языке. Это была стенограмма беседы. Я читал ответы молодого Дворкина, и передо мной постепенно проступал совершенно иной человек — не тот уверенный в себе трибун с горящими глазами, которого я видел на видеозаписях лекций, а глубоко травмированный, закомплексованный и озлобленный юноша.

В интервью Линн Виссон молодой эмигрант подробно рассказывает о своей жизни в Москве. Он описывает свои постоянные конфликты с учителями в школе, неспособность ужиться в любом коллективе, глубокое неприятие советской действительности, которое, однако, не имело под собой никакой идейной, диссидентской основы. Это был бунт ради бунта, порожденный внутренним дискомфортом.

Особенно поразительным был фрагмент, где Дворкин описывает свои отношения с матерью и окружением. Из его слов сквозила глубокая обида на весь мир. Он жаловался на то, что его никто не понимает, что общество враждебно к нему. Но самым важным открытием для меня стали его признания о пребывании в психиатрических учреждениях.

Я сопоставил эти признания с фактами из его собственной автобиографической книги «Моя Америка», изданной гораздо позже, и

официальными медицинскими документами, которые в свое время утекли в прессу, но были быстро зачищены из публичного доступа.

В 1976 году Александр Дворкин работал санитаром в московской Городской клинической больнице № 67. Это была тяжелая, грязная работа, на которую часто шли молодые люди, пытавшиеся скрыться от призыва в армию или не поступившие в институты. Но Дворкин не просто работал там — он сам стал пациентом психиатрического отделения.

Из медицинских документов и его собственных воспоминаний следовало, что в том же 1976 году он был уволен из больницы № 67. Причиной увольнения и последующей госпитализации в Психиатрическую клиническую больницу № 14 (а затем и в знаменитую «Кащенко» — ПКБ № 1) стал тяжелый психический срыв. Ему был поставлен официальный диагноз — циклотимия (в некоторых источниках фигурирует вялотекущая шизофрения или психопатия паранойяльного типа).

В советское время госпитализация в психиатрическую больницу часто использовалась призывниками как способ получить «желтый билет» и избежать службы в армии. Дворкин действительно избежал призыва. Но анализ его последующего поведения показывает, что диагноз не был простой формальностью для военкомата. Психическая нестабильность, склонность к аффективным вспышкам, мания преследования и одновременно патологическое стремление к доминированию — все эти черты, зафиксированные врачами в 1976 году, впоследствии стали определяющими для его общественной деятельности.

Я читал стенограмму интервью 1979 года, и передо мной складывался классический психопатологический профиль. Молодой человек, отвергнутый обществом, имеющий задокументированные психические отклонения, оказывается в чужой стране без денег, без связей, без четких жизненных ориентиров. В США он пытается учиться, меняет несколько университетов, но нигде не может найти покоя. Он ищет структуру, которая дала бы ему чувство абсолютной безопасности и одновременно — власти над другими, которой он был лишен в детстве и юности.

И он находит эту структуру. Но не в академической науке, а в религии, понятой им весьма специфически — как инструмент жесткого контроля и разделения мира на «своих» и «чужих».

— Вы понимаете, Сергей, — тихо произнес Валерий Семенович, прерывая мои мысли, — Дворкин в США попал в очень специфическую среду. Это были годы, когда в Америке бушевала так называемая «первая волна» антикультового движения. Появилась организация *Cult Awareness Network* (CAN), которая практиковала насильственное «депрограммирование» — похищение людей из новых религиозных движений, удержание их в подвалах и психологическую ломку. Дворкин наблюдал за этим процессом. Он увидел, что на страхе родителей перед «сектами» можно делать огромные деньги и получать колоссальное общественное влияние. Он понял, что концепция «промывания мозгов» — это идеальное оружие, позволяющее объявить любого инакомыслящего недееспособным «зомби», лишенным собственной воли.

Я кивнул. В моей голове выстраивалась логическая цепочка. В 1980-х годах Дворкин учился в Свято-Владимирской духовной семинарии в Нью-Йорке под руководством отца Иоанна Мейендорфа. Мейендорф, выдающийся богослов и историк церкви, пытался направить энергию молодого эмигранта в академическое русло. Но Дворкина интересовала не глубина богословия, а технологии влияния.

Когда в начале 1990-х годов в США начались громкие судебные процессы против организации CAN, связанные с похищениями людей и насилием (в результате чего CAN была признана банкротом и фактически прекратила свое существование в прежнем виде), Дворкин спешно покидает Америку. В 1991 году он перебирается в Мюнхен, где работает на радиостанции «Свобода», а затем возвращается в Россию.

Россия образца 1992–1993 годов представляла собой идеальное поле для человека с амбициями Дворкина. Рухнул Советский Союз, вместе с ним исчезла государственная идеология. Люди, выросшие в условиях жесткого духовного дефицита, жадно тянулись ко всему новому. В страну хлынули сотни проповедников, миссионеров, философских и оздоровительных систем. Русская православная церковь, только-только выходявшая из полуподпольного советского существования, чувствовала себя крайне неуверенно. Она не умела

работать в условиях свободной конкуренции идей. Ей казалось, что новые религиозные движения отбирают у нее «ее» паству.

И в этот момент появляется Александр Дворкин. Человек с американским дипломом, позиционирующий себя как «единственный специалист по западным технологиям манипуляции».

Весной 1993 года происходит событие, которое Дворкин впоследствии назовет «провиденциальным». В Москву приезжает датский профессор Йоханнес Огорд — основатель международной антикультовой сети «Диалог-центр». Огорд, как я уже знал из своего расследования, был прямым идейным наследником немецкого пастора Фридриха-Вильгельма Хаака и нацистского теолога Вальтера Кюннета.

Огорд искал человека, который мог бы возглавить филиал его организации в России. Дворкин идеально подходил на эту роль. Он был амбициозен, агрессивен, имел психиатрический опыт, который позволял ему легко манипулировать темой «душевного здоровья», и, главное, он панически боялся любого религиозного плюрализма.

В августе 1993 года Дворкин по приглашению Огорда едет в Данию, в Орхус, где детально изучает архивы «Диалог-центра» и перенимает методологию «диалога в конфронтации». Вернувшись в Москву, он основывает Информационно-консультационный центр во имя священномученика Ириния, епископа Лионского. Эта организация, созданная при Отделе религиозного образования и катехизации Московского патриархата, стала идеологическим штабом отечественного антикультизма.

Я поблагодарил Валерия Семеновича, бережно сложил копии документов в свой портфель и вышел на улицу. Мокрый снег продолжал падать, превращаясь под ногами в грязную жижу. Я шел к метро, размышляя о том, как один человек, движимый собственными внутренними демонами и вооруженный импортированной западной методологией, смог переформатировать сознание огромной церковной структуры.

Мне нужно было понять, как Дворкину удалось легализовать свои идеи на самом высоком церковном уровне. Ведь изначально Русская православная церковь относилась к его радикальным методам с осторожностью.

Чтобы разобраться в этом этапе расследования, я решил встретиться с отцом Леонидом (имя изменено), священником, который в девяностые годы служил в аппарате Московской патриархии и был очевидцем тех событий. Мы договорились встретиться в тихом сквере за храмом Христа Спасителя.

Отец Леонид, пожилой мужчина с мягким голосом и умными, грустными глазами, кутался в теплое пальто. Мы медленно шли по аллее, усыпанной мокрыми листьями.

— Сергей, вы должны понимать контекст того времени, — тихо говорил отец Леонид. — Девяностые годы — это время великих надежд и великого хаоса. В церкви шло бурное возрождение, но одновременно рос и страх. Мы не знали, как реагировать на вызовы современного мира. И тут появляется Дворкин. Он говорил очень убедительно для тех, кто привык к простым решениям.

Ключевым моментом стал Архиерейский собор Русской православной церкви, проходивший в Москве в декабре 1994 года.

Отец Леонид подробно описал мне, как за кулисами собора шла жесткая борьба за формулировки итоговых документов. Дворкин и его единомышленники проделали колоссальную лоббистскую работу. Они подготовили проект определения «О христианской миссии в современном мире», в который были вписаны жесткие формулировки, осуждающие новые религиозные движения.

В результате Архиерейский собор в декабре 1994 года принял беспрецедентное определение. В нем целый ряд религиозных организаций — от традиционных для России протестантских общин до новых движений — были официально объявлены «лжеучениями» и «сектами». Церковь фактически отказалась от диалога и перешла на рельсы жесткой конфронтации.

«Эти секты, — говорилось в документах собора, — разрушают традиционную культуру, подрывают устои государства и калечат психику людей».

Это была полная победа Дворкина. Внеправовые, псевдонаучные термины, которые он привез из США и Дании, получили официальную церковную санкцию. С этого момента любой православный миссионер или священник,

пытавшийся вести цивилизованный диалог с представителями других конфессий, объявлялся предателем интересов церкви.

— Это была трагическая ошибка, — вздохнул отец Леонид. — Приняв эти определения, церковь сама загнала себя в ловушку нетерпимости. Мы начали описывать мир в черно-белых тонах Дворкина. Вместо любви и проповеди Христа главным содержанием миссии стала борьба с врагами. И эта борьба очень быстро вышла за рамки церковной ограды.

Я вернулся домой, когда на часах было уже около девяти вечера. В прихожей меня встретила Даша. Она сидела на полу, играя с Федотом бумажным бантиком на ниточке.

— Пап, ты сегодня очень поздно, — сказала она, улыбаясь. — Мы тебя ждали ужинать. Мама пирог приготовила.

— Извини, солнышко, работы было много, — я присел рядом и потрепал ее по волосам. Внутри меня разлилось тепло. Ради этого тепла, ради этой мирной, спокойной жизни я и продолжал свое расследование. Я должен был защитить свой дом от той невидимой, но очень реальной угрозы, которую несла в себе индустрия страха.

После ужина я снова заперся в кабинете. Мне оставалось изучить последний, самый масштабный этап институционализации антикультового движения в России — создание РАЦИРС и ее интеграцию в международные структуры.

Я открыл документы, касающиеся 2006 года. К этому времени Александр Дворкин уже полностью контролировал антисектантскую повестку в стране. Но ему было мало рамок одного Центра Иринея Лионского. Ему нужна была общенациональная сеть, способная действовать во всех регионах России и координировать свои усилия с силовыми структурами.

В 2006 году Дворкин создает РАЦИРС — Российскую ассоциацию центров изучения религий и сект.

Это не была научная или исследовательская организация, несмотря на громкое название. Это была жестко структурированная сеть региональных

филиалов, созданных при поддержке местных епархий РПЦ. Ядром ассоциации оставался Центр Ирины Лионского.

Я проанализировал уставные документы РАЦИРС и отчеты о ее деятельности. Главной задачей организации стал сбор компромата на любые неправославные группы, составление «черных списков» и передача этих данных в правоохранительные органы. РАЦИРС фактически взяла на себя функции внесудебного карательного органа. Ее активисты читали лекции сотрудникам ФСБ, МВД и прокуратуры, обучая их выявлять «сектантские угрозы». Они выступали в судах в качестве «экспертов», выдавая заключения, на основании которых закрывались организации и заводились уголовные дела на верующих.

Но самым циничным было то, что эта глубоко тоталитарная, нацистская по своей сути структура смогла интегрироваться в европейское правовое пространство.

РАЦИРС стала ключевым членом FECRIS — Европейской федерации исследовательских и информационных центров по вопросам сектантства. Эта организация, базирующаяся во Франции и получающая финансирование от французского правительства, позиционирует себя как защитник прав граждан от «деструктивных культов».

Александр Дворкин не просто вошел в руководство FECRIS — в течение нескольких лет он занимал пост вице-президента этой европейской федерации.

Я смотрел на эту схему и поражался ее масштабам. Психически нестабильный человек, уволенный из московской больницы с тяжелым диагнозом, создавший в России организацию, практикующую методы дегуманизации и разжигания религиозной розни, признается в Европе «ведущим экспертом». Он выступает на европейских конференциях, обменивается опытом с французскими и немецкими коллегами, импортирует европейскую легитимность в Россию для оправдания репрессий и одновременно экспортирует российские методы давления обратно в Европу.

Это был единый международный синдикат страха.

Я вспомнил слова почетного юриста России, доктора юридических наук Анатолия Пчелинцева, которые я нашел в одном из юридических журналов:

Дворкин, по сути, создал околоправославную секту. Те признаки сект, которые он сформулировал, калькой ложатся на его организацию — Центр Иринея Лионского. Есть гуру — непогрешимый Дворкин и его adeпты в разных регионах страны.

Это было поразительное и точное наблюдение. Борясь с «сектами», Дворкин создал собственную, классическую деструктивную структуру. Организацию, построенную на слепом подчинении лидеру, на двойных стандартах, на агрессии к внешнему миру и на тотальном контроле над сознанием своих адептов. И эта структура смогла подчинить себе не только умы многих православных верующих, но и государственные институты огромной страны.

Я закрыл ноутбук и подошел к окну. Снег на карнизе стал еще толще. Город спал, укрытый белым покрывалом.

Я понимал, что мое расследование вышло на финишную прямую. Я раскопал корни этой системы, изучил ее методы, понял психологию ее идеологов. Но оставался самый страшный аспект деятельности этой машины. Как этот транснациональный синдикат страха использует медиа и государственные структуры для создания реальных, кровавых конфликтов? Как виртуальная тревога на экранах наших телефонов превращается в реальное насилие, ломающее судьбы тысяч людей?

Я посмотрел на спящего Федота, затем на закрытую дверь детской комнаты. Ответы на эти вопросы были слишком тяжелыми, но я должен был их найти. Ради Даши. Ради того, чтобы пульт от нашей жизни никогда не оказался в руках тех, кто строит свою власть на нашей слепоте и нашем страхе.

Глава 6. Сценарии уничтожения: от Уэйко до Пензы

Черный кофе в граненом стакане на столе привокзального кафе казался жидким и безвкусным, как разведенная тушь. За панорамным окном, выходящим на перроны Казанского вокзала, клубился тяжелый, сырой пар от пригородных электричек. Люди в темных куртках, похожие сверху на суетливых муравьев, спешили укрыться от ледяного ноябрьского дождя.

Я сидел в самом углу, положив на колени потертый кожаный портфель. Напротив меня устроился Юрий Воронов — бывший специальный корреспондент одного из крупных пензенских изданий, освещавший события в селе Никольское зимой 2007–2008 годов. Сегодня Юрий работал в скромном отраслевом бюллетене в Москве, но его память бережно хранила детали того безумия, которое творилось пятнадцать лет назад в заснеженных полях Поволжья.

— Ты ищешь систему там, где обыватель видит простое стечение обстоятельств, Сергей, — тихо произнес Юрий, неторопливо размешивая сахар пластиковой ложкой. — И ты прав. В аудите, как ты говоришь, нельзя верить случайностям. Когда я приехал в Никольское в ноябре 2007-го, мне казалось, что это чисто местная история: деревенский сумасшедший увел людей под землю ждать конца света. Но уже через неделю, глядя на то, какие силы стягиваются к этой несчастной пещере и как раскручивается маховик в федеральной прессе, я понял: нас используют. Нас, журналистов, использовали как бесплатную пехоту в чужой, очень грязной игре.

Юрий открыл принесенную с собой плотную папку-скоросшиватель. На стол легли пожелтевшие вырезки из газет, распечатки интернет-публикаций и несколько листов с рукописными заметками.

— Смотри, — он постучал пальцем по пожелтевшей странице. — Шаблон всегда один и тот же. Чтобы уничтожить группу людей, их сначала нужно лишить человеческого облика в глазах общества. Сделать так, чтобы их гибель

не вызвала сочувствия. Этот сценарий не у нас придумали. Его привезли из-за океана.

Я придвинул к себе первый документ из папки Юрия. Это был подробный аналитический отчет о событиях тридцатилетней давности, произошедших весной 1993 года в американском штате Техас, близ города Уэйко. Осада усадьбы «Маунт-Кармел», где проживали члены религиозной общины «Ветвь Давидова», стала классическим, хрестоматийным примером того, как антикультовое движение способно манипулировать правоохранительными органами и спецслужбами демократического государства, превращая их в слепое орудие убийства.

Община давидианцев, отделившаяся от Церкви адвентистов седьмого дня, мирно жила на своем ранчо в Техасе. Они занимались сельским хозяйством, изучали Библию и не нарушали никаких законов. Местные жители и шериф округа описывали их как вежливых, трудолюбивых и абсолютно безобидных соседей. Все изменилось, когда община попала в поле зрения американских антикультовых организаций, в частности, печально известной «Сети осведомленности о культах» (Cult Awareness Network — CAN).

Главную роль в разжигании конфликта сыграл Рик Алан Росс — самопровозглашенный «эксперт по культам» и профессиональный «депрограммист». Росс, не имевший никакого профильного образования, но обладавший колоссальным влиянием на государственные структуры, начал систематическую кампанию по дискредитации давидианцев. Он засыпал ФБР и Бюро по алкоголю, табаку и огнестрельному оружию (АТФ) ложными доносами, утверждая, что лидер общины Дэвид Кореш удерживает людей силой, подвергает насилию детей и создает подпольный арсенал для ведения партизанской войны.

При этом реальные факты игнорировались. Когда местный шериф заявлял, что в ходе проверок никаких признаков насилия над детьми в общине не обнаружено, его слова просто тонули в шуме медийной кампании. Когда сам Дэвид Кореш через оружейного дилера предлагал агентам АТФ обсудить проверку оружия и документов, спецслужбы ответили отказом. Вместо попытки прямого мирного контакта был выбран силовой сценарий, который затем стало уже невозможно контролировать.

Первым медийным проводником этой кампании стал австралийский журналист Мартин Кинг из телепрограммы «A Current Affair». В декабре 1991 года он снял серию тенденциозных интервью с бывшими членами общины, которые под влиянием антикультовых интерпретаций рассказывали ужасающие истории о «сексуальном деспоте» Кореше. Позже Кинг и его соавтор Брё сами описывали свою работу как попытку показать Кореша опасным сексуальным манипулятором.

Эта целенаправленная дегуманизация давидианцев в СМИ подготовила почву для силовой операции. 28 февраля 1993 года агенты ATF предприняли попытку штурма усадьбы, которая вылилась в перестрелку и привела к гибели четырех агентов и шести членов общины. После этого началась знаменитая 51-дневная осада «Маунт-Кармел».

— Обрати внимание на то, как велись переговоры, Сергей, — Юрий Воронов пододвинул ко мне распечатку стенограмм переговоров ФБР. — Профессиональные психологи и религиоведы, пытавшиеся вмешаться и объяснить спецслужбам специфику верований давидианцев, далеко не всегда допускались к принятию ключевых решений. Среди внешних антикультовых консультантов, чье мнение учитывалось силовиками, фигурировал и Рик Росс. Он твердил, что Кореш — безумный фанатик, который никогда не сдастся и может привести последователей к массовому самоубийству. Это становилось самоисполняющимся пророчеством. Силовиков постепенно настраивали на восприятие общины как группы, с которой невозможно разговаривать.

Психологическое давление на осажденных было чудовищным. Чтобы сломить волю людей, среди которых находились женщины и дети, вокруг усадьбы установили мощные прожекторы, светившие в окна круглые сутки. Через громкоговорители транслировались оглушительные звуки: крики убиваемых на бойне животных, скрежет металла, песнопения и поп-музыка. Людей лишали сна и доводили до пограничного психического состояния.

В этой психологической войне принимали участие и весьма специфические специалисты. В документальном расследовании «Воздействие» говорилось об участии в событиях в Уэйко российского ученого Игоря Смирнова, которого часто называли «отцом психотронного оружия». Смирнов, работавший в те годы в США на посту председателя Совета директоров корпорации Psychotechnologies

Corporation в Ричмонде, предлагал американским спецслужбам использовать свои технологии компьютерного психоанализа и субсенсорного воздействия для воздействия на давидианцев. Его жена Елена Русалкина впоследствии подтверждала, что Смирнов действительно присутствовал в контексте консультаций по Уэйко и что ФБР рассматривало его предложения, но, по имеющимся данным, не стало применять его методы.

Финал трагедии наступил 19 апреля 1993 года. Было принято решение о штурме с применением тяжелой бронетехники. Военные начали закачивать в деревянные здания усадьбы слезоточивый газ CS. Конвенция о химическом оружии запрещает применение таких веществ как метода ведения войны, хотя допускает их использование в правоохранительных целях; именно поэтому применение CS в Уэйко до сих пор вызывает острые споры.

В усадьбе вспыхнул пожар. Причина пожара остается предметом споров: официальные отчеты возлагали ответственность на самих давидианцев, критики указывали на роль силовой операции, разрушения здания и применения газа. Самое страшное заключалось в том, что пожарные машины не смогли сразу приступить к тушению, а люди внутри оказались фактически заперты в смертельной ловушке.

Всего среди давидианцев в ходе событий Уэйко погибли 82 человека: шесть человек — в перестрелке 28 февраля, еще 76 — во время финального штурма и пожара 19 апреля. Среди погибших были женщины и детей.

— И знаешь, что самое поразительное? — Юрий посмотрел мне прямо в глаза. — Эта страшная гибель десятков людей, включая детей, не сразу стала общенациональным обвинением против самой логики операции. В публичном пространстве уже был создан образ «секты фанатиков», и этот образ мешал многим увидеть в погибших прежде всего людей — женщин, детей, родителей, верующих, оказавшихся между своим лидером и государственной машиной. Насилие стало казаться объяснимым, потому что жертв заранее поместили за пределы нормального сочувствия.

Я слушал Юрия, и перед моими глазами вставали кадры из старых новостных выпусков: обугленные руины «Маунт-Кармел», черные пластиковые пакеты с телами погибших, разложенные на траве, и сытые, довольные лица

телевизионных комментаторов. Это была идеально отработанная технология. Технология, которая спустя десять лет начала активно импортироваться в Россию.

Я достал из своего портфеля папку с материалами, которые мне удалось собрать самостоятельно. Среди них были распечатки публикаций из газеты «Правда» за 2003 год.

— Смотри, Юрий, — я разложил листы на столе. — Ровно через десять лет после трагедии в Уэйко, в 2003 году, Александр Дворкин начинает серию публикаций и интервью в газете «Правда». Если внимательно проанализировать эти тексты, становится очевидно: он использовал западные трагедии вроде Уэйко как предупреждающий образ, который в российском контексте мог подталкивать общество и правоохранителей к жесткому восприятию малых религиозных групп.

В своих статьях Дворкин настойчиво проводил мысль о том, что малые религиозные группы могут быть источником опасности, саморазрушения и угрозы для окружающих. Он использовал трагедию в Уэйко не как предостережение против государственного насилия и манипуляций антикультистов, а ровно наоборот — как доказательство того, что «секты» якобы неизбежно приходят к саморазрушению, и поэтому государство должно действовать на опережение, применяя самые жесткие меры.

Это была идеологическая обработка. Дворкин внедрял в сознание чиновников и силовиков простую и опасную мысль: с этими людьми нельзя договариваться, их нельзя слушать, их нужно изолировать, пока они не совершили что-то ужасное. Любое проявление религиозного инакомыслия начинало рассматриваться не как вопрос свободы совести, а как потенциальная угроза безопасности.

И эта подготовка стала особенно заметной осенью 2007 года, когда в Пензенской области разразился кризис вокруг так называемых «пензенских затворников».

— Хроника тех событий у меня записана буквально по дням, — Юрий Воронов перелистнул несколько страниц в своем блокноте. — В ноябре 2007 года стало известно, что в селе Никольское Бековского района Пензенской области

от 29 до 35 человек, включая детей, выкопали под землей просторную пещеру и ушли туда в затвор, объявив, что ждут конца света, который, по их расчетам, должен был наступить в мае 2008 года. Организатором этого затвора был местный житель Пётр Кузнецов, который сам под землю не пошел, оставшись на поверхности.

Ситуация была нестандартной и сложной. Люди под землей хотели, чтобы их оставили в покое, запаслись продуктами, керосином, водой и собирались молиться. Но одновременно звучали угрозы взорвать себя в случае силового вмешательства, поэтому как только эта информация попала в СМИ, вокруг пещеры возникла атмосфера тревоги, а антикультовая машина РАЦИРС под руководством Дворкина запустила сценарий максимальной эскалации.

В ведущие федеральные издания было вброшено множество публикаций о «пензенских затворниках». Ситуация раздувалась до масштабов национальной драмы. Из мирных, хотя и глубоко заблуждающихся верующих, пресса усердно лепила образ зловещих фанатиков, готовых в любой момент совершить массовое самосожжение.

Сам Александр Дворкин не скрывал своего удовлетворения от масштабов медийной бури. В одном из своих интервью он открыто признавался:

«Надо сказать, что мы работаем с многими федеральными СМИ и хорошо знаем журналистов, которые специализируются на темах, связанных с сектами».

В январе 2008 года Дворкин дает развернутое интервью телеканалу «Вести», в котором проводит параллель между пензенскими затворниками и трагедией в Уэйко. Он заявляет:

«Эти люди долго находились под психологическим влиянием некоего отца Петра. Он манипулировал их сознанием, изолировал их в глухой деревне, вне привычной среды, и довёл до такой истерии. Это стандартная практика в мире тоталитарных сект. Люди вроде бы действуют добровольно, но на деле — вынужденно, поскольку они абсолютно несвободны».

— Понимаешь, Сергей, в чем цинизм этой риторики? — Юрий Воронов постучал карандашом по столу. — Дворкин с самого начала настойчиво говорил о высокой вероятности коллективного самоубийства. И такая риторика объективно давила на власть в сторону силового решения. Но любой разумный

человек понимал: если бы под землю ворвался вооруженный отряд, люди в панике действительно могли бы взорвать газовые баллоны или поджечь керосин. Россия могла получить свой «русский Уэйко» — не потому, что это было неизбежно, а потому что медийная истерия делала силовой сценарий все более вероятным.

Вокруг пещеры в Никольском был выставлен круглосуточный полицейский и военный патруль. Ситуация накалялась с каждым днем. Журналисты федеральных каналов буквально дежурили у оцепления, ожидая штурма или взрыва. Атмосфера была наэлектризована до предела.

Но, к чести пензенских региональных властей и местных сотрудников правоохранительных органов, они проявили здравомыслие. Они не пошли на штурм. Вместо этого была организована планомерная, спокойная работа. К пещере не допускали агрессивных активистов, зато туда регулярно приходили переговорщики, врачи и представители духовенства, которые вели терпеливые переговоры.

Когда весной 2008 года из-за таяния снегов своды пещеры начали угрожающе осыпаться, затворники под влиянием уговоров переговорщиков начали постепенно, группами выходить на поверхность. Массового самоубийства не произошло, но трагедии избежать полностью не удалось: двое участников умерли во время пребывания в пещере, и именно запах разлагающихся тел позже стал одной из причин выхода последних затворников. Сценарий большой кровавой развязки не состоялся прежде всего потому, что силовики на месте отказались решать ситуацию штурмом.

— Но если силовой сценарий провалился, то сценарий дискредитации и использования карательных механизмов был отработан сполна, — продолжил я, переворачивая страницу своих записей. — И ключевым инструментом здесь стала психиатрия и псевдонаучные экспертизы.

Организатор затвора Пётр Кузнецов был арестован. Но вместо открытого судебного процесса, где могли бы всплыть неудобные факты о том, как искусственно раздувался этот кризис, его поместили в психиатрическую больницу. Психиатрическое клеймо — это самый удобный способ заставить человека замолчать и лишить его публичного голоса.

В декабре 2007 года, в самый разгар кризиса, в медиапространстве появляется очередной дезинформационный вброс. 14 декабря портал «Интерфакс-Религия», со ссылкой на бульварную газету «Твой день», распространил сенсационную новость: Пётр Кузнецов, находящийся в психиатрической больнице, совершил попытку самоубийства, но его якобы спасли.

Эта новость должна была стать очередным «доказательством» безумия и суицидальных наклонностей лидера затворников. Однако администрация региональной психиатрической больницы повела себя честно и выступила с официальным опровержением. Заместитель главного врача по медицинской части областной психиатрической больницы Вячеслав Белоусов прямо заявил журналистам:

«Это полная выдумка. Состояние Кузнецова стабильное. Он даже не высказывал желания уйти из жизни. В отношении него проводится психолого-психиатрическая экспертиза. Пока диагноз не установлен. Поэтому лечение не назначено».

Несмотря на это опровержение, ложь уже сделала свое дело. В сознании миллионов телезрителей закрепился образ «безумного гуру», склонного к суициду. Пётр Кузнецов в итоге был признан невменяемым и отправлен на принудительное лечение. Его голос был полностью стерт из публичного пространства.

— Это стандартный метод, Сергей, — тихо произнес Юрий Воронов, собирая бумаги обратно в папку. — Если ты не можешь сжечь людей, как в Уэйко, ты должен объявить их сумасшедшими. Псевдонаучные экспертизы, которые штампуют эксперты антикультовой сети, строятся по одному шаблону. Они берут религиозные тексты, вырывают фразы из контекста и заявляют, что эти тексты «разрушают психику», «внушают ненависть» или «призывают к насилию». На основании таких бумажек суды могут закрывать организации, изымать имущество, а обычных верующих — отправлять в тюрьмы или психиатрические стационары. Это инквизиция, которая просто сменила рясы на строгие костюмы и научные степени.

Я смотрел на Юрия и понимал, что масштаб этой трагедии выходит далеко за рамки Пензы или Уэйко. Это глобальная система, которая использует страх как главный ресурс для управления обществом.

Антикультисты создают виртуальную угрозу, раздувают ее с помощью СМИ до масштабов общественной истерии, а затем предлагают государству свои «услуги» по ликвидации этой угрозы. И государство, поддавшись панике, рискует добровольно отдать им в руки карательные функции, разрушая собственные правовые институты.

Сотрудники правоохранительных органов, наслушавшись лекций таких «экспертов», начинают видеть в мирных гражданах опасных врагов. Они идут на штурм усадеб с бронетехникой и газом, они оцепляют пещеры, они проводят обыски в домах пенсионеров, искренне веря, что спасают страну от «деструктивных культов». Психологическая неустойчивость лиц, обладающих властью и правом применять силу, становится главным оружием в руках манипуляторов.

Дождь за окном кафе превратился в плотную, серую стену воды. Электрички на путях Казанского вокзала глухо гудели, отправляясь в темную, холодную подмосковную ночь.

Я тепло попрощался с Юрием Вороновым. Он пожал мне руку, пожелал быть осторожным и быстро растворился в толпе пассажиров, спешащих к турникетам. А я остался стоять на платформе, чувствуя, как холодные капли дождя стекают по лицу.

В моем портфеле лежали документы, которые связывали воедино трагедию в Техасе 1993 года и события в Пензенской области 2007–2008 годов. Это были не просто исторические справки. Это были чертежи одной и той же ловушки, в которую раз за разом попадает человечество, когда соглашается променять свою свободу и критическое мышление на иллюзию безопасности, продаваемую профессиональными торговцами страхом.

Я достал телефон. На экране светилось несколько пропущенных вызовов от Ирины Петровны и сообщение от Лены: «Сережа, ты где? Мы волнуемся. Даша нарисовала новый рисунок, хочет тебе показать».

Я улыбнулся. Мой мир, мой маленький, теплый и настоящий мир был там, дома, где горел свет и пахло пирогом. Но я знал, что этот мир не будет в безопасности, пока по улицам бродят люди, способные одним словом превратить твоего соседа во «врага», а твоего ребенка — в «жертву культа».

Я убрал телефон в карман и пошел к выходу из вокзала. Мое расследование подходило к самому важному, самому опасному рубежу. Я понял, как работает эта машина на уровне законов, терминов и медийных манипуляций. Я увидел, к каким кровавым последствиям может приводить ее работа. Но оставался последний, ключевой вопрос, без ответа на который все мои усилия были бы напрасны.

Как именно эти разрозненные сигналы, эти статьи в газетах, эти выступления по телевидению и посты в интернете собираются в сознании конкретных людей в смертоносную мозаику? Каков внутренний, психологический и нейробиологический механизм этого воздействия, заставляющий людей совершать насилие?

Глава 7. Программирование насилия и пазловое кодирование

Дождь на Моховой улице не прекращался уже вторые сутки. Он размывал очертания старинных зданий, превращая высящуюся неподалеку Библиотеку и желтые корпуса университета в неясные серые силуэты. Я стоял под козырьком у входа в Психологический институт, подняв воротник пальто и пряча руки в карманы. В моем портфеле лежала папка с распечатками, которые я изучал всю прошлую неделю, но сейчас мне требовалось нечто большее, чем просто тексты на экране ноутбука. Мне нужен был живой разговор с человеком, который понимает, как устроен человеческий разум, когда он подвергается невидимому давлению.

Илья Семенович Волков, доктор психологических наук и специалист по когнитивным процессам, ждал меня в своем кабинете на третьем этаже. Здесь, вдали от шумных проспектов, время текло иначе — медленно, размеренно, словно защищая находящихся внутри людей от безумного ритма внешнего мира.

— Проходите, Сергей, раздевайтесь, — Илья Семенович поднялся навстречу из-за массивного письменного стола, заваленного монографиями и научными журналами. Это был сухощавый мужчина лет шестидесяти, с аккуратной седой бородкой и очень живыми, пронизательными глазами за стеклами очков в роговой оправе. — Чай? У меня есть неплохой цейлонский, как раз заварил.

— Спасибо, Илья Семенович, не откажусь, — я присел на скрипучий кожаный стул напротив него, бережно положив портфель на колени. — Я пришел к вам, потому что мои финансовые и юридические изыскания зашли в тупик, который лежит уже не в области законов, а в области чистой психологии. Я пытаюсь понять, как разрозненные, на первый взгляд не связанные между собой сообщения в прессе и социальных сетях могут подталкивать уязвимого человека к насилию. Без прямого приказа, без личного контакта с манипулятором.

Волков аккуратно разлил чай по чашкам, пододвинул ко мне сахарницу и внимательно посмотрел на меня.

— Вы говорите о феномене, который я для удобства называю направленным формированием поведенческих паттернов, или, проще, «пазловым кодированием», — произнес он, устраиваясь в своем кресле. — Это не академический термин в строгом смысле, а рабочая метафора. Но она помогает объяснить, как повторяющиеся информационные фрагменты, попадая в уязвимую психику, могут постепенно складываться в опасный сценарий поведения. Сегодня, с развитием социальных сетей и алгоритмов рекомендаций, эта проблема вышла на совершенно иной уровень. Давайте я объясню вам, как это работает с точки зрения когнитивной психологии.

Он взял со стола чистый лист бумаги и положил его между нами.

— Представьте себе, что перед вами картина, состоящая из сотен мелких деталей — пазлов. Если я покажу вам один кусочек, на котором изображен

просто фрагмент серого неба или кусок кирпичной стены, вы не поймете, что это за картина. Он не вызовет у вас никаких эмоций, не побудит к действию. Но если я буду постепенно, день за днем, выкладывать перед вами другие кусочки, ваш мозг начнет достраивать общую картину. И в какой-то момент, когда на стол ляжет последний, ключевой фрагмент, в сознании может вспыхнуть целостный образ. И этот образ способен повлиять на поведение.

— Но кто и как раскладывает эти кусочки? — спросил я, делая глоток горячего чая.

— В этом и заключается суть метода, — Волков подался вперед. — В отличие от классического гипноза или прямого внушения, где манипулятор находится рядом и отдает команды, здесь воздействие осуществляется дистанционно, через информационное пространство. Процесс этот может быть долгим. Иногда он длится месяцы, иногда — годы. Организаторы или даже просто участники информационной среды используют несколько последовательных волн, каждая из которых несет в себе определенные фрагменты — «вкладки», рассчитанные не столько на рациональный анализ, сколько на эмоции, фантазии и чувство собственной значимости.

Илья Семенович постучал пальцем по столу, подчеркивая важность своих слов.

— Первая волна всегда носит подготовительный характер. Ее задача — создать благоприятную эмоциональную почву. На этом этапе в медиаполе начинают активно появляться материалы, которые эксплуатируют естественные человеческие стремления, чаще всего — подростковую жажду признания, внимания и выхода из одиночества. Но подается это через специфическую призму. Начинается скрытая или явная романтизация образов тех, кто уже совершил громкие преступления в прошлом. Подробные биографические очерки, обсуждения их мотивов, детальные разборы их действий — все это создает вокруг фигуры преступника ореол мрачной известности. Подросток, чувствующий себя одиноким и недооцененным в реальной жизни, видит: обычный парень, такой же, как он, одним поступком заставил говорить о себе весь мир. Его имя звучит на федеральных каналах, его обсуждают знаменитости. В подсознание закладывается первый пазл: «насилие — это самый быстрый путь к признанию».

— И мозг начинает примерять этот образ на себя? — спросил я, вспоминая свои собственные страхи за Дашу.

— Именно, — кивнул Волков. — Некоторые подростки начинают мысленно проигрывать эти сценарии. Они думают: «А что бы сделал я на его месте? Как бы я поступил со своими обидчиками?» Но большинство из них так и остаются на стадии фантазий. Чтобы процесс стал опасным, нужны следующие волны — направляющие. В информационное поле встраиваются более детальные фрагменты: описания конкретных моделей оружия, тайминги прошлых нападений, разборы ошибок предыдущих стрелков. Эти материалы часто маскируются под аналитические статьи, предупреждения об опасности или даже профилактические лекции. Но для уязвимого сознания это может сработать не как предупреждение, а как сценарий. И наконец, появляется активирующая волна — конкретный информационный триггер: дата, слово, годовщина или резонансное событие, которое соединяет накопленные фрагменты в ощущение личного «знака». Человек совершает преступление, искренне веря, что это его собственное, выстраданное решение. На допросах он может говорить: «Мне никто не помогал, идея пришла мне в голову самой». Он не обязательно лжет — он действительно мог ни с кем не встречаться. Но его решение формировалось в среде, которую кто-то долго насыщал нужными образами.

Я открыл свою папку и достал из нее документы, которые прислали мне коллеги из Праги. Это были отчеты чешских специалистов, исследовавших психологический климат в учебных заведениях страны после трагедии 21 декабря 2023 года, когда студент Давид Козак устроил стрельбу в Карловом университете в Праге, в результате которой погибли четырнадцать человек и были ранены более двадцати.

— Илья Семенович, посмотрите на эти данные, — я протянул ему распечатки. — Чешские исследователи зафиксировали тревожную динамику. В некоторых регионах, где перед этим активно проводились так называемые «профилактические лекции» и распространялись агрессивные антикультовые пособия для школ, уровень подростковой тревожности и агрессии не снизился, а, по их наблюдениям, вырос. Более того, в этих школах появились сообщения о росте обращений к специалистам по поводу эмоциональной нестабильности среди молодежи.

Волков взял документы, быстро пробежал глазами по графикам и таблицам, и его лицо стало еще более серьезным.

— Это не доказывает прямую причинно-следственную связь, Сергей, — тихо произнес он. — Но для специалиста здесь есть тревожный сигнал. Если профилактика построена не на навыках саморегуляции, критического мышления и доверительного общения, а на запутывании, постоянном повторении образов угрозы и демонстрации насилия, она может давать обратный эффект. Материалы, которые распространялись в школах под видом «профилактики экстремизма» и «борьбы с деструктивными культами», нужно анализировать очень внимательно. Что в них содержалось? Сухая правовая информация? Или эмоционально заряженные описания «опасных групп», подробные рассказы о «промывании мозгов» и постоянное упоминание насилия как неизбежного спутника этих процессов?

Он отложил чешский отчет и посмотрел на меня поверх очков.

— Когда вы регулярно показываете подростку образы насилия, детально разбираете профили убийц и постоянно твердите ему, что вокруг находятся скрытые враги, вы не обучаете его безопасности, а можете усиливать тревогу и подозрительность. Вы удерживаете его систему угрозы в состоянии постоянной готовности. Возникает конфликт между естественным стремлением молодого человека к безопасности и картиной мира, полной скрытых опасностей, которую ему навязывают. Этот конфликт не обязательно приводит к болезни, и уж тем более нельзя говорить, что он прямо вызывает биполярное расстройство. Но у части уязвимых детей он может усиливать тревожность, импульсивность, агрессию и чувство отчуждения. Это побочный эффект профилактики, построенной на страхе.

— То есть, борясь с насилием на словах, такие организации могут создавать для него почву? — спросил я, чувствуя, как внутри меня нарастает холодная ярость.

— Да, если они путают профилактику с запутыванием, — ответил Волков. — Обратите внимание на то, как осторожно описываются случаи стрельбы в школах в странах, где журналисты придерживаются принципа минимизации вреда. Там стараются не делать из преступника героя: меньше имен, меньше

фотографий, меньше романтизирующих деталей. Мозг потенциального подражателя не получает лишней пищи для фантазий. Но в странах, где медиаполе буквально забито деталями, риск подражания выше. И рядом с такими трагедиями часто появляются структуры, которые профессионально занимаются «мониторингом деструктивных явлений». Они первыми приходят на телевидение с готовыми объяснениями, требуют расширения своих полномочий, получают гранты на «профилактику». Возникает замкнутый круг: страх порождает спрос на экспертов, эксперты усиливают страх, а общество постепенно привыкает жить в режиме постоянной угрозы.

Я достал следующий документ — распечатку материалов, посвященных событиям июля и августа 2024 года в Великобритании и Австрии. Эти события потрясли Европу, но мало кто пытался рассмотреть их как часть более широкой информационной динамики.

— Давайте разберем конкретный кейс, Илья Семенович, — сказал я. — Двадцать девятое июля 2024 года, город Саутпорт, Великобритания. Семнадцатилетний Аксель Рудакубана нападает с ножом на маленьких девочек, пришедших на танцевальный урок, посвященный творчеству Тейлор Свифт. Три ребенка погибают, еще несколько детей и двое взрослых получают тяжелые ранения. Трагедия ужасная. Но посмотрите, что происходит в информационном пространстве в первые же двадцать четыре часа после этого.

Я пододвинул к Волкову распечатку мониторинга социальных сетей Великобритании за те дни.

— Буквально через несколько часов после нападения в сети начинает распространяться дезинформация. Неизвестные аккаунты и крупные ультраправые профили утверждают, что нападавший — мусульманин, нелегальный мигрант, прибывший в страну на лодке и находившийся под наблюдением спецслужб. Эта ложь падает на подготовленную почву. В стране вспыхивают массовые беспорядки. Люди выходят на улицы, нападают на мечети, поджигают объекты, связанные с мигрантами и беженцами, вступают в столкновения с полицией. И все это — на основе фейка, который был запущен быстро и точно.

— Выбор контекста в Саутпорте был чудовищно чувствительным с точки зрения массовой реакции, — тихо произнес Волков, качая головой. — Почему именно Тейлор Свифт? Она сегодня — не просто поп-звезда. Это феномен мирового масштаба. Ее фан-сообщество — «свифтис» — это огромная, быстро реагирующая сеть, состоящая из миллионов молодых людей. Нападение на детей во время урока, связанного с ее музыкой, гарантировало мгновенный, взрывной интерес к событию.

Он взял распечатку поста Тейлор Свифт в Instagram, который она опубликовала на следующий день после трагедии.

«Ужас вчерашнего нападения в Саутпорте накатывает на меня снова и снова, и я просто полностью в шоке... Потеря жизней и невинности, а также ужасная травма, нанесенная всем, кто там был, — семьям и сотрудникам экстренных служб. Это были всего лишь маленькие дети на уроке танцев. Я совершенно не знаю, как выразить свои соболезнования этим семьям».

— Посмотрите на этот пост, Сергей, — Волков указал на текст. — Тейлор Свифт искренне шокирована, она пишет это от чистого сердца. Но психологический эффект такого сообщения огромен. Его видят миллионы ее подписчиков. Для них это сигнал: «мой кумир заговорил об этом». В сознании многих подростков событие в Саутпорте мгновенно связывается с фигурой любимой певицы. И здесь включается тот самый механизм информационного закрепления, о котором мы говорили.

Илья Семенович поднялся, подошел к доске, висевшей на стене кабинета, взял мел и быстро набросал простую схему.

— В сознании уязвимого подростка, который отчаянно стремится к признанию, может возникнуть опасная связка. Он видит, что нападение на фанатов Тейлор Свифт заставило саму певицу публично высказать свои эмоции. Это стало одной из самых обсуждаемых тем в мире. И у некоторых, наиболее нестабильных детей, в фантазии может сформироваться страшный образ: «если я сделаю нечто подобное, мой кумир узнает обо мне, я стану частью ее мира». Это не логическое рассуждение, не доказанная автоматическая реакция, а риск для небольшой группы уязвимых людей. Они могут начать мысленно примерять

на себя роль либо убийцы, либо жертвы. И именно поэтому публичное освещение таких трагедий требует предельной осторожности.

— Но на этом история не закончилась, — добавил я. — Ровно через несколько дней, седьмого августа 2024 года, австрийские власти объявляют об отмене трех концертов Тейлор Свифт в Вене из-за угрозы теракта. Задерживают девятнадцатилетнего юношу, который, по версии следствия, присягнул на верность ИГИЛ и планировал нападение на стадионе. И в мировых СМИ снова запускается мощная волна публикаций: «исламистский экстремист хотел атаковать концерт Тейлор Свифт».

— Вот вам и второй информационный фрагмент, — Волков провел мелом по доске, оставив жирную черту. — Первый фрагмент, связанный с Саутпортом, сформировал образ насилия вокруг фан-сообщества. Второй, связанный с Веной, добавил образ конкретной угрозы — исламистского экстремизма. И здесь нужно быть особенно осторожными: один задержанный подозреваемый, даже если обвинения подтвердятся, не может превращаться в обвинение против целой религиозной или этнической группы. Но именно так работает массовая тревога: она обобщает, упрощает и ищет врага.

Он повернулся ко мне, его лицо выглядело уставшим и осунувшимся в полумраке кабинета.

— Те, кто используют такие события для манипуляции, Сергей, прекрасно понимают, что делают. Им не обязательно создавать сами трагедии. Иногда достаточно вовремя направить интерпретацию. Дестабилизировать общество, подорвать доверие к правительствам, создать условия, при которых люди сами потребуют жесткого контроля, цензуры и отказа от части свобод. И самое страшное, что все это часто делается нашими собственными руками — через наше невежество, страх и эмоциональную вовлеченность.

Мы проговорили с Ильей Семеновичем еще около двух часов. Он приводил мне примеры других исследований, рассказывал о том, как алгоритмы современных социальных сетей, настроенные на удержание внимания пользователя любой ценой, могут невольно становиться идеальным проводником для таких фрагментов.

Я вышел из института, когда на Моховой уже зажглись уличные фонари. Их желтый свет отражался в лужах на асфальте, создавая иллюзию двойного, перевернутого города. Дождь почти прекратился, сменившись холодной, сырой изморосью.

Я шел к метро, и слова Волкова продолжали звучать в моей голове. Я смотрел на прохожих, спешащих мимо меня. Почти каждый второй держал в руке светящийся экран телефона. Молодые парни, девушки, совсем еще дети — все они находились внутри этого гигантского, невидимого информационного поля. Они шли, спотыкаясь на неровностях тротуара, полностью погруженные в свои персональные потоки информации.

Сколько из них прямо сейчас получали свои «пазлы»? Сколько уязвимых, одиноких подростков в этот самый момент читали о предотвращенном теракте в Вене или о деталях нападения в Саутпорте, мысленно примеряя на себя роль вершителей судеб? Мы создали мир, в котором доступ к разуму нашего ребенка открыт двадцать четыре часа в сутки для любого, кто умеет манипулировать алгоритмами и человеческими эмоциями. Мы заперли свои двери на надежные замки, установили сигнализации и видеокамеры, но оставили широко открытыми окна в виртуальный мир, откуда в спальни наших детей беспрепятственно проникает этот невидимый, разрушительный туман.

Я спустился в метро. На станции «Библиотека имени Ленина» было шумно и многолюдно. Я вошел в вагон поезда и прислонился к дверям. Напротив меня сидел парень лет шестнадцати в дутой куртке и больших наушниках. Его пальцы с невероятной скоростью листали ленту коротких видеороликов на экране смартфона. На долю секунды на экране мелькнуло изображение человека с пистолетом, затем — кадры какого-то уличного столкновения, затем — танцующая поп-звезда. Парень не задерживался ни на одном видео дольше трех секунд. Его мозг впитывал этот хаотичный, эмоционально заряженный поток почти без пауз на осмысление.

Я почувствовал, как к горлу подступает знакомый, липкий ком тревоги. Но теперь это был не тот слепой, парализующий ужас, который заставил меня когда-то не пустить Дашу в кино. Это была холодная, аналитическая тревога человека, который увидел структуру угрозы. Я понимал, что простое выключение телевизора или запрет на пользование телефоном не решат

проблему. Нельзя запереть ребенка в стерильном боксе, нельзя изолировать его от мира, в котором ему предстоит жить.

Нужно было искать другой путь. Путь возвращения контроля над собственным разумом и разумом тех, кто нам дорог.

Дома меня встретила привычная, теплая тишина. На кухне горел мягкий свет абажура. Лена сидела за столом, читая какую-то книгу, а кот Федот дремал у нее на коленях, тихонько посапывая.

— Сережа, ты наконец-то пришел, — Лена подняла голову и улыбнулась. — Чай будешь? Я пирог разогрею.

— Да, Лен, с удовольствием, — я снял пальто, повесил его в шкаф и прошел в детскую.

Даша сидела за своим столом. В комнате горела только настольная лампа, освещая лист плотной бумаги, на котором она что-то увлеченно рисовала цветными карандашами. Из ее наушников, лежащих на столе, доносился тихий, едва слышный мотив одной из песен Тейлор Свифт.

Я тихо подошел сзади и положил руку ей на плечо. Она вздрогнула от неожиданности, но, увидав меня, улыбнулась и потянулась навстречу.

— Пап, привет! Посмотри, что я рисую.

На листе бумаги был изображен фантастический город — с высокими, причудливыми башнями, мостами, парящими в воздухе, и ярким, необычным небом, раскрашенным во все цвета радуги. В этом рисунке не было ни капли того серого, грязного страха, который я видел на улицах города и в экранах телефонов. Это был чистый, светлый мир детской фантазии, еще не тронутый манипуляциями профессиональных торговцев тревогой.

— Очень красиво, Даш, — искренне сказал я, присаживаясь на край ее кровати. — Расскажешь мне про этот город?

— Это город, где никто никуда не спешит, — Даша повернулась ко мне на стуле, поджав под себя ноги. — И там нет интернета. Люди просто ходят друг к другу в гости, разговаривают и рисуют на стенах домов все, что захотят.

Я посмотрел на ее открытое, чистое лицо, на ее глаза, в которых отражался свет настольной лампы. И в этот момент я понял самое главное.

Пазловое кодирование, алгоритмы социальных сетей, антикультовые манипуляции — все это сильнее всего работает тогда, когда человек находится в изоляции. Когда он одинок, когда он устал, когда реальный мир вокруг него кажется серым, холодным и враждебным. Именно в эту пустоту и проникают чужие, разрушительные программы.

Но если наполнять этот мир реальным теплом, живым общением, доверием и пониманием, у манипуляторов становится меньше шансов. Ребенок, который чувствует себя защищенным и любимым в своей семье, не становится неуязвимым — никто не становится. Но у него появляется внутренняя опора, которая помогает распознавать чужие фрагменты и не превращать их в свой собственный сценарий.

— Знаешь, Даш, — тихо произнес я, беря ее за руку. — Давай мы завтра в кино поедим. Вместе. На тот фильм, который ты хотела посмотреть. А потом зайдем в кондитерскую и съедем по огромному куску шоколадного торта. Только телефон оставим дома. И ты, и я.

Даша удивленно посмотрела на меня, а затем ее глаза засияли такой искренней, чистой радостью, которую невозможно симитировать ни в одном виртуальном мире.

— Правда, пап? Давай! Я так давно этого хотела.

Я обнял ее, чувствуя, как внутри меня окончательно тает тот липкий, фоновый ужас, который преследовал меня все эти месяцы. Мое расследование подходило к концу. Я нашел ответы на свои вопросы. Я понял, как устроена эта гигантская машина страха, кто ее создал и как она функционирует. Но главное — я понял, как начать выключать ее. По крайней мере, в своей собственной жизни и в жизни своей семьи.

Я вышел из детской и пошел на кухню, где Лена уже налиwała чай. На подоконнике тихо мурлыкал Федот. За окном шумел огромный, сложный и часто пугающий город. Но здесь, внутри нашей квартиры, горел свет, который никакая информационная волна не могла потушить.

Глава 8. Владельцы пульта

Дождь за окном сменился плотным туманом, который окутал московские высотки, превращая их в призрачные корабли, застывшие в сером океане. На моем рабочем столе горела только одна лампа под зеленым абажуром. Рядом стояла остывшая чашка чая. Кот Федот спал на подоконнике, уткнувшись носом в лапы, изредка вздрагивая во сне.

Я смотрел на экран ноутбука, где была открыта финальная таблица моего расследования. Как профессиональный аудитор, я знал: любая, даже самая сложная и запутанная схема в конечном итоге оставляет финансовый след. Идеологические споры, громкие лозунги, телевизионные эфиры и пугающие заголовки — все это лишь внешний фасад, декорация, призванная отвлечь внимание от главного. А главное всегда отражается в балансовых отчетах, банковских проводках и грантовых соглашениях.

Мне потребовалось несколько недель, чтобы свести воедино разрозненные данные, которые я собирал по крупицам. Я запрашивал выписки из реестров юридических лиц, изучал отчеты о целевом использовании средств некоммерческих организаций, анализировал материалы международных слушаний и сопоставлял даты. теперь, когда картина была собрана, у меня появилось главное понимание: мы имеем дело с глобальной, высокодоходной индустрией, которая продает обществу страх, конвертируя его в реальную власть и колоссальные финансовые потоки.

Чтобы перепроверить свои выводы, я решил встретиться с человеком, который всю жизнь занимался расследованием сложных финансовых махинаций и трансграничных переводов. Павел Игнатьевич Широков, бывший старший следователь по особо важным делам в сфере экономических преступлений, ныне находившийся на пенсии, согласился принять меня в своей небольшой квартире на Пресне.

Мы сидели на его кухне, заставленной старыми книгами и папками с архивными делами. Павел Игнатьевич, сухощавый мужчина с цепким, пронизательным взглядом и аккуратными седыми усами, внимательно изучал распечатанные мной таблицы, изредка делая пометки карандашом на полях.

— Ты проделал хорошую работу, Сергей, — произнес он, снимая очки и аккуратно складывая их в футляр. — Твой аудиторский подход здесь как раз кстати. Обыватель видит в деятельности антикультистов лишь религиозный фанатизм или искреннее желание защитить людей. Но если посмотреть на цифры, становится очевидно: перед нами сеть, в которой идеология слишком часто пересекается с коммерческими и политическими интересами, а общественная тревога становится ресурсом для извлечения прибыли.

Он пододвинул ко мне один из листов.

— Давай начнем с самого простого уровня — с того, как эта система зарабатывает внутри страны. Ты обратил внимание на историю центра «Рожана»? Это ведь классический пример того, как антикультовое клеймо используется в качестве инструмента недобросовестной конкуренции в чисто коммерческих интересах.

Павел Игнатьевич открыл одну из папок и зачитал выдержку из материалов дела:

В 1989 году Жанна Цареградская основала Центр перинатального просвещения и поддержки грудного вскармливания «Рожана». Спустя несколько лет центр стал самой известной и популярной российской организацией в области так называемого «естественного материнства». Изначально «Рожана» создавалась как некоммерческая структура, но со временем начала приносить доход — весьма ощутимый. И тут начались проблемы: в 2006 году Цареградскую обвинили в создании секты под видом перинатального центра; в 2008 году против «Рожаны» сплотились «независимые» критики при активной поддержке сектоведов; а в 2010 году деятельностью центра всерьёз заинтересовались силовики — настолько, что Жанну Цареградскую заключили под стражу, а её муж оказался в тюрьме. При этом сама Жанна Цареградская неоднократно заявляла в интернете: всё происходящее — не что иное, как классический рейдерский захват успешного

проекта. По её словам, в процесс были вовлечены сектологи, чтобы дискредитировать деятельность «Рожаны». Более того, массированную атаку на центр в интернете, как утверждает Жанна, координировал всё тот же Дворкин — якобы для усиления давления.

— А теперь посмотри на то, что происходило на рынке в этот же момент, — Павел Игнатьевич постучал карандашом по таблице. — Массированные нападки на «Рожану» удивительным образом совпали по времени с выходом на рынок крупной конкурирующей структуры — сети клиник «Мать и дитя». Этот коммерческий проект, в отличие от скромной «Рожаны», ориентировался на совершенно иные масштабы. Сеть «Мать и дитя» впоследствии стала торговаться на Лондонской фондовой бирже, а стоимость ее акций исчислялась сотнями миллионов долларов. Для такого гиганта альтернативные центры естественного материнства были прямой угрозой для маржинальности. И использование антикультовых активистов для дискредитации конкурента оказалось невероятно эффективным ходом. Дворкин выполнил свою задачу блестяще: успешный проект был уничтожен, его создатели нейтрализованы, а рынок полностью зачищен под крупного игрока.

Я смотрел на эти цифры и чувствовал, как во мне нарастает тяжелое чувство омерзения. Люди, которые с экранов телевизоров рассуждали о «духовной безопасности» и «спасении душ», на деле выполняли высокооплачиваемые заказы по устранению коммерческих конкурентов.

— Но это лишь одна из схем, — продолжил Павел Игнатьевич. — Есть и более циничные методы, которые напоминают классический рэкёт из девяностых годов, но завернутый в благообразную религиозную обертку.

Он вывел на экран своего компьютера архивную копию публикации, датированной началом февраля 2017 года, которую мне удалось разыскать в кэше удаленных сайтов.

— Согласно этим документам, в определенный период работы РАЦИРС религиозные организации в России фактически были поставлены перед выбором: либо они платят за свою безопасность, либо их объявляют «опасной сектой» со всеми вытекающими последствиями. Схема была простой и действенной. При регистрации в Минюсте, например, некоего родноверческого

культы через пару дней после заявки представителю организации звонят и назначают встречу на определённых условиях. Предлагается заплатить указанную сумму, а взамен получить возможность для комфортной работы, в противном случае организация попадёт в список сектантских. Передав взятку, религиозная организация получает «крышу» от серьёзных ребят. Ну и далее — по 3 тысячи долларов ежегодно «на поддержку крыши». Изначально речь шла о единовременном платеже в 10 000 долларов, а затем — об ежегодных взносах в размере 3 000 долларов. Причем сумма не зависела от размера организации.

Я быстро прикинул эти цифры в уме.

— Павел Игнатьевич, но ведь крупных религиозных объединений и различных культурных центров в стране сотни. Если каждое такое учреждение заплатит по 10 000 долларов при регистрации и по 3 000 ежегодно, то годовой оборот этой схемы может легко составлять до полумиллиона долларов.

— Именно так, — подтвердил Широков. — Это колоссальные теневые деньги, которые не облагаются налогами и не отражаются ни в каких официальных отчетах. Но эта бизнес-модель не могла существовать вечно в таком виде. В апреле 2017 года ситуация кардинально изменилась: в России официально запретили деятельность Свидетелей Иеговы, что положило начало масштабной волне репрессий в отношении многих религиозных групп. Старая схема «откупов» стала неактуальной, поскольку государственная машина перешла к полной зачистке поля. Но антикультовая сеть не осталась без финансирования. Она просто переориентировалась на другие источники — государственные субсидии, гранты и бюджетные ассигнования, выделяемые на «борьбу с экстремизмом» и «патриотическое воспитание».

Он посмотрел на меня долгим взглядом.

— И здесь мы выходим на самый интересный уровень твоего расследования, Сергей. На международный уровень. Ты ведь задавался вопросом, как связаны между собой российская РАЦИРС и европейская федерация FECRIS?

Я кивнул, открывая свой блокнот.

— Да, я выяснил, что РАЦИРС на протяжении многих лет являлась ключевым членом FECRIS, а сам Дворкин трижды занимал пост вице-

президента этой европейской структуры. Но меня поражает другое: как организация, которая в России продвигает крайне агрессивную, антизападную риторику, умудряется годами существовать в самом сердце Европы и получать поддержку от европейских правительств?

— В этом и заключается величайший парадокс и одновременно главная тайна этой системы, — Павел Игнатьевич достал из папки распечатку финансового отчета FECRIS. — Посмотри на источники финансирования этой европейской федерации. FECRIS базируется во Франции и практически полностью — более чем на 90 процентов — финансируется из государственного бюджета Франции. То есть французские налогоплательщики годами оплачивали деятельность организации, руководство которой в лице Дворкина активно занималось разрушением демократических институтов в России, лоббированием репрессивных законов и преследованием мирных граждан.

Он перевернул страницу, показывая мне схему трансграничных связей.

— Связь между деятельностью РАЦИРС в СНГ и европейскими филиалами FECRIS — это не просто формальное членство. Это единая, скоординированная сеть обмена информацией и методологией. Когда в России обкатывались методы дискредитации той или иной группы, эти же материалы мгновенно передавались в европейские филиалы FECRIS. Там они переводились на французский, немецкий или английский языки и представлялись местным властям как «доказательство глобальной угрозы». И наоборот: европейские антикультовые законы и административные практики, такие как французские законы или немецкие «сект-фильтры», использовались российскими антикультистами как оправдание для закручивания гаек внутри страны. Они постоянно ссылались на «передовой европейский опыт», умалчивая о том, что сами же этот опыт там и конструировали через свои филиалы.

— Но зачем это нужно европейским политикам? — спросил я. — Зачем им финансировать структуру, которая подрывает основы их собственного демократического общества?

— Потому что страх — это самый ликвидный политический товар, Сергей, — тихо произнес Широков. — Посмотри, как устроена эта конвертация. Антикультовые организации создают в обществе атмосферу постоянной,

невидимой угрозы. Они внушают обывателю и чиновникам, что вокруг них действуют тысячи «скрытых культов», которые зомбируют людей, разрушают семьи и готовят теракты. Напуганное общество начинает требовать защиты. И кто предлагает эту защиту? Те же самые антикультисты. Они приходят к правительству и говорят: «Дайте нам финансирование, дайте нам официальный статус, расширьте наши полномочия, и мы защитим вас».

Он обвел карандашом несколько цифр в моем отчете.

— Это идеальный бизнес-план. Сначала ты создаешь проблему — искусственно раздуваешь страх через подконтрольные СМИ. Затем ты предлагаешь решение этой проблемы, требуя под это государственные бюджеты и политическое влияние. И чем больше страха ты сможешь сгенерировать, тем больше денег и власти ты получишь. Это конвейер, который никогда не останавливается, потому что его бенефициары кровно заинтересованы в том, чтобы угроза никогда не исчезла. Если завтра все «секты» вдруг исчезнут, антикультисты потеряют свои гранты, свои должности в министерствах и свое влияние на суды. Поэтому они вынуждены постоянно придумывать новых врагов, расширяя списки «деструктивных организаций» до бесконечности.

Павел Игнатьевич закрыл ноутбук и посмотрел на меня с грустной улыбкой.

— Знаешь, Сергей, во всей этой истории есть еще один след, который окончательно срывает маски с этих «борцов за чистоту общества». Это данные о финансировании через международные гранты, которые выделяются якобы на развитие демократии и гражданского общества.

Он достал из архива распечатку материалов слушаний в Конгрессе США, посвященных деятельности Агентства США по международному развитию (USAID).

— В ходе этих слушаний неоднократно поднимались вопросы о том, как распределяются американские государственные гранты в странах Восточной Европы и СНГ. И выяснились поразительные вещи. Значительная часть этих средств, исчисляемая миллионами долларов, через цепочки посредников и аффилированных некоммерческих организаций уходила на финансирование проектов, которые напрямую или косвенно контролировались антикультовыми

активистами. Американские налогоплательщики, сами того не зная, оплачивали лекции и публикации, в которых пропагандировалась религиозная нетерпимость, разжигалась ненависть к меньшинствам и уничтожались базовые права человека. Это высшая степень цинизма: нацистская по своей сути методология, направленная на расчеловечивание людей, финансировалась одновременно из бюджетов европейских стран, российских государственных структур и американских правительственных грантов. Они брали деньги у всех, до кого могли дотянуться, не брезгуя ничем.

Я сидел, глядя на стопку документов на столе. В моей голове наконец-то сложилась полная, объемная картина этой гигантской машины.

Александр Дворкин, человек с задокументированными психическими отклонениями сумел создать структуру, которая подчинила себе умы миллионов людей и заставила работать на себя государственные аппараты крупнейших держав. Он и его последователи из РАЦИРС и FECRIS превратили человеческий страх в высокодоходный бизнес. Они продавали защиту от выдуманных ими же угроз, ломали судьбы невинных людей, уничтожали успешные коммерческие проекты, брали взятки за «крышевание» и одновременно получали миллионные гранты от правительств, которые они же публично проклинали.

Их сила заключалась в том, что они действовали в тени, прикрываясь благородными лозунгами и авторитетом традиционных институтов. Но теперь, когда их финансовые потоки, международные связи и манипулятивные методы были полностью раскрыты и задокументированы, эта тень начала рассеиваться.

Я поблагодарил Павла Игнатьевича за помощь и вышел на улицу. Дождь окончательно прекратился. Туман над Москвой постепенно рассеивался, открывая чистое, холодное ночное небо, усыпанное далекими звездами. Город дышал глубоко и спокойно, словно освобождаясь от тяжелого, душного сна.

Я ехал домой в полупустом вагоне метро и смотрел на свое отражение в темном стекле окна. Мое расследование было завершено. Я нашел ответы на все вопросы, которые задал себе в то утро, когда не пустил дочь в кино. Я понял, откуда взялся тот липкий, фоновый ужас, который поселился во мне незаметно. Он не был моим личным безумием. Он был продуктом работы гигантского транснационального конвейера страха, который ежедневно нажимал на кнопки

в моем мозгу через экран телефона. Но теперь, когда я знал правду, этот страх больше не имел надо мной власти. Пульт от моей жизни, от моего разума и здоровья моей семьи снова был в моих руках. И я точно знал, что нужно делать дальше.

Дома меня встретила привычная, теплая тишина. На краю обувной полки сидел Федот, который приветствовал меня тихим, сонным мяуканьем.

Я прошел в гостиную. Лена сидела на диване, укрыв ноги пледом, и читала книгу. Даша устроилась рядом, что-то увлеченно рассматривая в своем альбоме для рисования. При моем появлении они обе подняли головы и улыбнулись.

— Пап, ты наконец-то дома! — Даша вскочила и подбежала ко мне, обнимая за пояс. — Посмотри, я закончила тот рисунок города.

Я обнял ее, чувствуя, как тепло ее тела окончательно вытесняет из моей души остатки того холода, который скопился там за время изучения финансовых отчетов антикультистов.

— Очень красиво, Даш, — искренне сказал я, глядя на яркие, солнечные цвета на бумаге. — Настоящий город мечты.

Я повернулся к Лене, встретив ее теплый, понимающий взгляд. Она знала, через что мне пришлось пройти за эти месяцы, и поддерживала меня на каждом шагу этого пути, не задавая лишних вопросов и просто будучи рядом.

Я достал из кармана свой смартфон. Тот самый светящийся прямоугольник, который раньше был первым, к чему я тянулся утром, и последним, что я видел перед сном. На его экране светились несколько десятков уведомлений: срочные новости, аналитические статьи, комментарии, прогнозы очередных кризисов и катастроф. Вся эта гигантская индустрия страха продолжала работать, пытаясь вернуть меня в свою петлю, требуя моего внимания, моих эмоций и моего здоровья.

Я посмотрел на экран, чувствуя абсолютное, звенящее спокойствие.

Я зажал кнопку питания на боковой панели телефона. На экране появилось меню выбора. Мой палец без колебаний скользнул по кнопке «Выключить». Экран погас, превратившись в глубокое, черное зеркало, в котором отражалось только мое лицо и свет теплой домашней лампы.

Я положил выключенный телефон на самую верхнюю полку шкафа в прихожей, за коробки со старыми документами. Туда, где он не сможет беспокоить нас своим навязчивым синим светом.

Это был мой личный манифест. Мой акт освобождения и возвращения контроля над собственной жизнью. Я понял, что информационная гигиена в современном мире — это не просто полезная привычка. Это единственный способ сохранить свой разум, свое здоровье и свою человечность. Мы не можем закрыть антикультовые организации в один день, мы не можем запретить продажным СМИ публиковать пугающие заголовки, и мы не можем изменить алгоритмы социальных сетей, настроенные на извлечение прибыли из нашей тревоги. Но мы можем лишить их главного ресурса — нашего внимания.

Когда мы выключаем экраны, когда мы отказываемся верить расчеловечивающим ярлыкам, когда мы перестаем транслировать чужую ненависть и страх в свои дома, эта гигантская машина начинает буксовать. Без нашего эмоционального вовлечения она теряет свою силу. Ее бюджеты становятся бесполезными, ее политическое влияние тает, а ее идеологи превращаются в обычных, никому не интересных спикеров, вещающих в пустоту.

Самая эффективная борьба с индустрией страха начинается не в судах и не на трибунах. Она начинается на наших кухнях, в наших спальнях, в наших отношениях с близкими. Она начинается тогда, когда мы выбираем живое общение вместо виртуальной тревоги, доверие вместо подозрительности и любовь вместо страха.

Я вернулся в гостиную и сел на диван рядом с Леной и Дашей. Федот немедленно перебрался с подоконника ко мне на колени, устроился поудобнее и завел свою мерную, успокаивающую песню.

— Ну что, — сказал я, обнимая жену и дочь. — Рассказывайте, как прошел ваш день.

Даша прижалась к моему плечу и начала увлеченно рассказывать о школьных делах, о своих друзьях и о том, какой фильм она хочет посмотреть с нами в следующие выходные. Я слушал ее чистый, звонкий голос, смотрел на мягкий свет лампы и чувствовал, как внутри меня восстанавливается тот самый

нарушенный баланс. Дебет сошелся с кредитом. Моя жизнь снова принадлежала мне.